
Кира Грин
Родная кровь
18+

Кира Грин

Родная кровь

«Автор»
2026

Грин К.

Родная кровь / К. Грин — «Автор», 2026

Мы выросли в одной семье, делили одну крышу и называли друг друга братом и сестрой. Но кровь, которая текла в моих венах, не имела к Делломарам никакого отношения. И Демиан знал об этом с самого начала.

© Грин К., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 13
Глава 3 22
Глава 4 31
Глава 5 39
Глава 6 46

Кира Грин
Родная кровь

Глава 1

Половина шестого утра, и воздух ещё держит ночную прохладу — к полудню от неё не останется ничего, но сейчас я благодарна за каждый градус. Туман цепляется за верхушки сосен на базе, стелется по гравийной площадке, где уже выстроились карабины, верёвки и восемь заспанных лиц, которым я через секунду испорчу настроение.

— Девяносто кэ-ноль-пять, — говорю я, вытягивая верёвку на всю длину и проверяя оплётку пальцами, сантиметр за сантиметром. — Если кто-то спросит, почему я трогаю каждый метр руками вместо того, чтобы просто доверять производителю, — потому что производитель не полезет с вами на скалу, если верёвка перетёрлась о камень в прошлом сезоне. Я полезу. Так что да, я параноик. Живите с этим.

Кто-то из группы нервно хихикает. Хорошо. Страх — это нормально, пока он не превращается в панику на высоте сорока метров.

— Карабины проверяем муфтой вверх, замок прикручен до упора, не наполовину, — я показываю, щёлкая затвором так, что звук разносится по площадке, как выстрел. — Если я увижу хоть один недовёрнутый, я лично спущу вас вниз и отправлю домой пешком. Вопросы?

Вопросов нет. Отлично. Я продолжаю раскладывать снаряжение по рюкзакам, и руки делают это сами, без участия головы, — хорошо, потому что голова у меня сейчас работает плохо. Я не спала толком три ночи подряд, и организм начинает это выражать не усталостью даже, а какой-то звенящей злостью, которую хочется на кого-нибудь выплеснуть.

— Доброе утро, — голос раздаётся слишком близко, у самого плеча, и я чувствую запах кофе раньше, чем вижу термос.

Чарльз стоит так, что между нами остаётся сантиметров тридцать — меньше, чем положено нормальному человеку, когда к нему подходят не обниматься. Длинные русые волосы собраны в хвост, прядь выбилась и падает на серый глаз, и он смотрит на меня с тем выражением, которое я научилась распознавать ещё год назад: мягким, осторожным, выжидающим — будто он надеется, что если смотреть достаточно долго и достаточно тихо, я вдруг решу посмотреть в ответ по-другому.

— Ты сегодня особенно злая, — говорит он, протягивая термос. — Я бы даже сказал — опасно злая. Группа может подумать, что ты их на скалу вести не собираешься, а скидывать.

— Отличная бизнес-модель, — я беру термос, не глядя на него, и делаю глоток. Кофе горячий, крепкий, ровно такой, каким Чарльз его заваривает всегда, зная, что мне нравится. Это должно бы тронуть. Вместо этого раздражает. — Клиент платит, клиент летит. Быстрее, чем канатная дорога, и без очереди.

— Кардс.

— Что?

— Ты в порядке?

Вопрос звучит тихо, почти по-дружески, и в этом вся проблема: он действительно беспокоится, по-настоящему, без подтекста — ровно до тех пор, пока я не поднимаю глаза и не вижу, что подтекст там всё-таки есть, просто спрятан глубже обычного.

— Я в порядке, Чарльз. Я всегда в порядке. Это моя суперспособность, — я протягиваю термос обратно, чуть резче, чем нужно. — А вот ты сейчас стоишь в зоне, где я разматываю страховочную систему, так что если не хочешь получить карабином по колену — отступи на метр.

Он отступает. Не обижается — улыбается только, кротко, будто давно привык, что я так огрызаюсь, и для него это тоже часть какого-то своего языка, на котором он меня читает лучше, чем мне хотелось бы.

Я не собираюсь ничего обсуждать. Ни бессонную ночь, ни то, почему за последние две недели я трижды просыпалась от того, что телефон вибрировал сообщением от Тапера, которое я не открывала, ни то, что слово «свадьба», сказанное вслух в моей голове, до сих пор отдаётся как пощёчина с отсрочкой. Не с Чарльзом. Не с человеком, который смотрит на меня не как на коллегу, а как на что-то, что можно подобрать, если я вдруг окажусь достаточно разбитой, чтобы согласиться на утешение. Мне не нужно утешение. Мне нужно, чтобы руки держали верёвку, ноги держали скалу, а голова молчала хотя бы восемь часов подряд.

— Загружаемся! — кричу я группе, и восемь человек с облегчением хватают рюкзаки, радуясь, что можно наконец двигаться, а не стоять под моим взглядом. — Кто будет блевать в фургоне — сидит у окна и делает это аккуратно, я не нанималась мыть салон.

Чарльз грузит баллоны с водой в прицеп, и я слышу, как он что-то напевает себе под нос — нарочито беспечно, как будто я его не задела минуту назад. Я иду к водительской двери, забираюсь в кабину, завожу двигатель. Зеркало заднего вида на миг ловит моё отражение: глаза красные от недосыпа, челюсть сжата так, что завтра будет болеть.

— Все пристегнулись? — спрашиваю я уже через плечо, не дожидаясь ответа, и выжимаю сцепление. Фургон трогается, гравий хрустит под колёсами, и база вместе со всем, что в ней осталось не сказанным, уплывает назад, в туман.

* * *

Скала встречает меня сухим, нагретым за ночь камнем — он ещё держит вчерашнее тепло, хотя воздух успел остыть к рассвету. Я иду первой, без страховки с чужих плеч, только собственная система и привычка, которая въелась в тело глубже, чем любая мысль о Тапере.

— Смотрим на мои руки, не на мои ноги, — бросаю я группе через плечо, находя первый зацеп двумя пальцами. — Ноги врут, руки — нет. И да, если кто-то спросит, страшно ли мне — нет, не страшно, мне скучно спускаться потом за теми, кто решил, что скалолазание — это как в инстаграме.

Смех снизу, нервный, но живой. Я поднимаюсь ровно, экономно, щёлкаю карабином о следующую точку, не глядя — рука помнит расстояние без участия глаз. Солнце ещё низкое, бьёт сбоку, и камень под пальцами тёплый с одной стороны, холодный с другой, будто у него тоже есть свои счёты с утром.

На середине маршрута, там, где тропа сужается до карниза шириной с ладонь, у меня за спиной раздаётся сдавленный звук — не крик, хуже, застрявший в горле хрип. Оборачиваюсь: парень из группы, кажется Дэн, прилип спиной к скале, пальцы впились в трещину так, что побелели костяшки, а глаза смотрят вниз, туда, куда смотреть нельзя.

— Дэн. Дэн, смотри на меня, — голос у меня не повышается, наоборот, падает, становится ровным и тяжёлым, как камень под ногами. — Вниз не смотрим. Смотрим на мой подбородок. Видишь мой подбородок?

— Я… я не могу…

— Можешь. Ты уже стоишь, значит, можешь. Дыши носом, выдыхай ртом, два раза медленно.

Он выдыхает, дрожа, и я вижу, как плечи чуть опускаются — паника отступает на полшага, не больше, но этого достаточно. Я спускаюсь на пару движений ближе, беру его страховку в свою руку, перепроверяю узел одним движением пальцев, не глядя, потому что руки знают это лучше головы.

— Правая нога на тот выступ, что под коленом. Не ищи глазами — я скажу. Вот так. Молодец. Теперь левая рука чуть выше, там трещина как раз под твои пальцы.

Он двигается, неуклюже, но двигается, и спустя три таких команды карниз остаётся позади, а я чувствую, как в груди у меня разжимается что-то, о существовании чего я и не подозревала минуту назад.

Адреналин бьёт в кровь резко, горячо, выжигая всё лишнее — и на секунду, ровно на секунду, в голове не остаётся ни пустой постели, ни телефона с непрочитанными сообщениями, ни лица Тапера, каким я видела его в последний раз. Есть только камень, высота и чужой страх, который я только что держала в своих руках и не уронила.

— Кардс, чисто сработано, — голос Чарльза снизу, он страхует второй верёвкой, запрокинув голову, и солнце бьёт ему прямо в лицо, но он не щурится, смотрит на меня.

— Это моя работа, Чарльз, — отвечаю я, не оборачиваясь, хотя чувствую этот взгляд спиной, будто он тёплый, как камень под пальцами. — За это мне, собственно, и платят.

— Я не об этом.

Я всё-таки смотрю вниз. Он держит верёвку обеими руками, готовый в любую секунду принять вес, и смотрит на меня дольше, чем нужно для простой страховки, дольше, чем смотрят на коллегу. Взгляд цепляется, и на долю секунды я забываю, что собиралась сказать что-то колкое.

— Трави верёвку, — говорю вместо этого, резче, чем нужно. — У меня ещё десять метров и клиент, который уже решил, что я героиня дня, а мне ещё спускать его с горы живым.

Чарльз улыбается — кротко, одними уголками губ, — и отводит взгляд первым, занявшись карабином, которому не требовалось никакого внимания.

Я долезаю до вершины последней, подтягиваю Дэна за собой, и когда он, оказавшись на плоском камне, начинает нервно смеяться от облегчения, я позволяю себе ровно одну секунду — встать, выпрямиться, посмотреть вниз на лес, сползающий складками к горизонту, и почувствовать, как внутри что-то расправляется, прочно и спокойно. Я сделала это сама. Никто не держал меня за руку, никто не спасал меня от собственного страха — я спасла кого-то другого от его. Это немного, но это моё, и прямо сейчас, на этой высоте, это единственное, что держит меня на ногах крепче любой верёвки.

* * *

Плато встречает нас плоским камнем, нагретым солнцем так, что сквозь штаны чувствуется тепло, и видом, от которого даже самые уставшие туристы достают телефоны. Я сажусь на край, свешиваю ноги, пью воду прямо из горлышка фляги, и на секунду мне почти хорошо.

Почти — потому что Чарльз садится рядом, причём не рядом в смысле «на этом же плато», а рядом в смысле «плечом к плечу», так что я чувствую запах его пота и солнцезащитного крема, смешанный во что-то неожиданно приятное.

— Подвинься, — говорю я без особой угрозы в голосе, но он только улыбается и не двигается ни на сантиметр.

— Здесь лучше вид, — отвечает он, глядя не на лес внизу, а на меня.

Группа щёлкает затворами телефонов, Дэн что-то восторженно рассказывает двум девушкам про то, как он чуть не умер на карнизе, превращая свой позор в геройскую сагу прямо у меня на глазах, и на это хотя бы можно отвлечься. Но Чарльз не даёт отвлечься надолго.

— Ты теперь свободна, — говорит он таким тоном, будто это не вопрос, а факт, который он давно вычислил и просто ждал удобного момента озвучить. — В смысле, насовсем. Без Тапера.

Слово «Тапер» произносится у него с какой-то деликатной брезгливостью, будто он держит его двумя пальцами, как использованный бумажный стаканчик.

— Чарльз, — говорю я, не оборачиваясь к нему, — мы сейчас на высоте полутора тысяч метров, где воздух разрежен, а у тебя, похоже, кислородное голодание мозга.

— Я серьёзно. — Он всё-таки поворачивается ко мне корпусом, и я вижу его серые глаза, честные до неловкости, и русую прядь, выбившуюся из хвостика. — Может, сходим выпить. После смены. Просто как друзья, если тебе так спокойнее.

«Как друзья» он произносит так, что сразу ясно: ни разу не как друзья.

Что-то во мне — усталое, издёрганное бессонной ночью — хочет сказать «да» просто назло всему миру, просто чтобы кто-то смотрел на меня так, будто я не руины после пожара. Но вместо этого я чувствую укол раздражения, резкий и неприятный, направленный, как ни странно, не на него. На себя. За то, что мне вообще на секунду этого хочется.

— Знаешь что было бы спокойнее? — говорю я, встаю на ноги и отряхиваю штаны от каменной крошки. — Если бы ты проверил узлы у группы вместо того, чтобы разводить меня на свидание на высоте полутора тысяч метров.

— Это не развод, — говорит он тихо, уже без улыбки, и в этой кротости слышится что-то почти обиженное, но он не настаивает, не давит, просто смотрит снизу вверх, пока я стою над ним.

— Маршрут вниз сложнее подъёма, — говорю я, глядя уже не на него, а на тропу, уходящую вниз сквозь редкий сосняк. — Там сыпуха на два участка, нужно идти плотной группой.

И тут, совершенно некстати, в голове всплывает лицо Тапера — не то, каким оно было два года, а то последнее, перед дверью, когда он говорил «прости, это ничего не значило», и его губы двигались так убедительно, с такой отработанной искренностью, что я почти поверила, если бы не помнила, как эти же губы говорили мне «люблю» неделей раньше, уже зная про Кейт. Слова извинений, которые стоят ровно столько, сколько воздуха потребовалось, чтобы их произнести.

Горло сжимает резко и неожиданно, как судорога в икре на крутом подъёме — внезапно и обидно не вовремя.

— Так, народ, — говорю я громче, чем нужно, обрывая и мысль, и воспоминание одним движением, будто перерезаю верёвку ножом. — Фотосессия окончена, собираем манатки, у нас ещё три часа спуска и я не планирую ночевать на этой горе из-за того, что кто-то фоткал закат вместо того, чтобы пить воду.

Дэн вскакивает первым, послушно закидывая рюкзак на одно плечо, девушки щёлкают последний кадр и тоже встают. Чарльз поднимается медленнее, отряхивая колени, и бросает на меня взгляд, в котором нет ни злости, ни обиды — только терпеливое, почти собачье ожидание, будто он готов ждать сколько угодно, лишь бы однажды я ответила по-другому.

— Собирайся, Чарльз, — говорю я уже мягче, потому что он ни в чём не виноват, а вина, которая во мне ворочается, принадлежит совсем другому человеку. — У тебя шнурок развязан, и это гораздо опаснее, чем всё, о чём ты меня сейчас спрашивал.

Он смотрит вниз на свой ботинок, хмыкает, наклоняется завязать, а я уже иду вперёд, впереди группы, туда, где тропа ныряет в тень сосен, и говорю себе, что это просто усталость, просто плохая ночь, просто гора, которая всегда забирает лишнее и никогда не отдаёт обратно. Но укол под рёбрами не проходит до самого спуска.

* * *

Костёр уже не горит, а тлеет, рассыпая искры в темноту, и от него тянет дымом, въевшимся в куртку так плотно, что завтра придётся стирать её дважды. Палатки стоят ровным полукругом, в двух из них ещё шуршат спальники, из третьей доносится приглушённый смех Дэна — кто-то травит байки про медведей, которых здесь отродясь не было. Я сижу на бревне чуть в стороне, грею руки о кружку с остывшим чаем, и мне хорошо ровно до тех пор, пока мозг не решает, что пора вспомнить.

Две недели назад. Квартира Тапера, та самая, где я знала расположение каждой кружки в шкафу. Я вернулась раньше с работы, потому что смену отменили из-за ливня, и хотела удивить его — глупость, за которую мне до сих пор стыдно саму себя. Дверь открылась тихо, ключ у

меня был свой. В коридоре — её туфли, рыжие лодочки, которые я сама же советовала Кейт купить в том магазине на Мелроуз. А потом звук из спальни, который ни с чем не спутаешь, и я стою в прихожей с мокрым зонтом в руке, как полная дура, и слушаю собственную лучшую подругу.

Я не кричала. Это странно, я до сих пор удивляюсь, что не кричала. Просто повернулась и ушла, аккуратно прикрыв дверь, будто боялась их разбудить, хотя они явно не спали.

Усмехаюсь в темноту, сама себе, беззвучно. Ну хоть есть за что уважать собственный вкус на катастрофы — надо было умудриться, чтобы это оказалась именно Кейт, а не какая-то безликая случайная сучка. Классика жанра, мать его. В любой дешёвой мелодраме героиню предают с лучшей подругой, просто в моей версии предательство случилось на кухне, где стояла банка кофе, которую я сама туда поставила месяц назад.

Прихлёбываю остывший чай, морщусь — горький, трава разварилась. Две недели я сплю на раскладном диване у Мии, подтянув колени к груди, потому что диван на размер меньше, чем мои почти сто семьдесят сантиметров роста, и каждое утро просыпаюсь с затёкшей шеей и ощущением, что нахожусь не дома, а в гостях у собственной жизни. Мия не жалуется, но я вижу, как она прячет зевок, когда я в полседьмого встаю собираться на смену, и как её парень Алекс смотрит на меня с тем особенным вежливым терпением, с каким смотрят на гостя, который слишком затянул визит.

Это не решение. Я понимаю это с той же ясностью, с какой понимаю разницу между страховочной верёвкой и декоративной — диван у Мии держит меня примерно так же, просто создаёт иллюзию, что подо мной есть опора, пока я не посмотрю вниз.

Костёр щёлкает, выбрасывая сноп искр, и одна из них гаснет у меня перед глазами, не долетев до земли. Мне нужно не пристанище. Пристанище я могу найти где угодно — хоть в мотеле у трассы, хоть в палатке прямо здесь, у подножия этих скал, которые хотя бы честны со мной и никогда не притворяются чем-то, чем не являются. Мне нужны стены, за которыми не нужно улыбаться, когда не хочется, не нужно благодарить за гостеприимство, не нужно выслушивать, как кто-то вполголоса обсуждает мою личную жизнь в соседней комнате, думая, что я уже сплю.

И первым, о ком я думаю, — почему-то Демиан.

Не потому что мы особенно близки, последние годы между нами скорее вежливая дистанция взрослых людей, которые когда-то жили одной семьёй, а теперь созваниваются по праздникам и раз в пару месяцев ужинают в его идеально обставленной квартире, где я всегда боюсь поставить бокал не на ту подставку. Но у него есть дом — настоящий, большой, с лишними комнатами, которые пустуют, потому что он слишком занят своими небоскрёбами, чтобы завести в них жизнь. И есть то, чего я не нахожу больше нигде: право быть в его доме просто потому, что я его сестра, без необходимости отрабатывать это чем-то — улыбкой, благодарностью, вежливым молчанием о собственных проблемах.

Мысль неприятно царапает что-то в груди, и я не сразу понимаю, что именно. Может, гордость, которая восстаёт при одной идее попросить брата о помощи, будто я опять семнадцатилетняя девчонка, которую надо спасать. А может, что-то другое, более смутное, чему я пока не хочу давать имя, — лёгкое неудобство при мысли о том, чтобы снова жить под одной крышей с ним, слишком близко, слишком долго.

Отгоняю это ощущение тем же движением, каким отгоняю комара от уха, — резко, не задумываясь. Допиваю остывший чай одним глотком, морщусь от горечи, встаю с бревна. Завтра спуск, послезавтра — выходной. Самое время сделать звонок, который я откладывала две недели, маскируя трусость заботой о чужом покое.

* * *

Телефон лежит на колене экраном вверх, и одна полоска сигнала то появляется, то исчезает, как будто связь с миром здесь, на высоте, вопрос настроения, а не физики. Костёр доедает

последнее полено, угли дышат оранжевым, и я смотрю на этот свет дольше, чем нужно, лишь бы не смотреть на экран.

Все давно разошлись по палаткам. Только я сижу на бревне, завернувшись в куртку, и слушаю, как где-то внизу по склону ворочается ветер в соснах. Хороший звук. Честный. Он не обещает ничего, что не собирается выполнить.

Я разблокирую телефон раньше, чем успеваю себе это запретить.

Переписка с Тапером открывается сама, будто телефон знает мой маршрут лучше меня самой. Сверху — его последнее сообщение, двухнедельной давности: «Делия, пожалуйста, ответь. Я всё объясню». Под ним ещё одно, часом позже: «Это ничего не значило». Классика жанра — объяснение, которое отменяет слово «ничего» уже самим фактом существования.

Листаю выше. Там, в прошлом, мы ещё смешные — он присылает фотографию кота соседей с подписью «твой клон, только рыжее», я отвечаю голосовым, которое невозможно слушать без того, чтобы не хотелось придушить саму себя за эту интонацию. Там я ещё не знаю.

Палец зависает над экраном. Не читаю больше, не хочу, мне и так хватило той картины две недели назад — Кейт на его кровати, с его простынёй до плеч, и то, как они оба застыли, будто кто-то на середине нажал паузу в плохом кино. Хватило настолько, что хочется не просто закрыть чат, а выжечь его из телефона вместе с номером.

Нажимаю «удалить переписку». Экран коротко мигает подтверждением, и всё — ни слов, ни фотографий, ни голосовых. Будто стираешь мелом с доски человека, которого две недели назад считала своим будущим. Жаль, что из головы так легко не стирается.

Пальцы сами, без спроса, листают контакты дальше, и останавливаются на имени «Демиан».

Смешно, но мысль о нём приходит почти с облегчением, будто я до этого искала в темноте выключатель и наконец нащупала его на привычном месте. Демиан никогда не спрашивает, почему у меня красные глаза. Не лезет с сочувствием, от которого хочется зарычать. Он просто ставит передо мной тарелку с едой и говорит что-то совершенно не по теме — про очередной свой проект, про то, что подрядчик опять сорвал сроки, — и этого почему-то хватает, чтобы перестать трястись изнутри.

При нём не нужно быть сильной. Странно — потому что именно рядом с ним я всю жизнь пыталась доказать обратное.

Гордость подкатывает к горлу раньше, чем я успеваю набрать номер. Просить его — значит снова стать той семнадцатилетней, которую он забирал из полицейского участка после того, как я разбила машину родителей на горном серпантине, доказывая себе, что умею держать руль не хуже отца. Значит снова увидеть в его взгляде то самое выражение — не злость, хуже, терпеливую снисходительность старшего, который давно смирился, что младшая сестра будет постоянно вляпываться в неприятности, а он будет их разгребать.

Я не хочу быть его обязанностью. Никогда не хотела.

Но диван Мии с каждым днём становится всё жёстче, а вежливое терпение Алекса — всё заметнее, и альтернативы у меня, по сути, две: гордость или крыша над головой. Сижу на бревне, пока угли костра подёргиваются пеплом, и впервые за две недели честно признаюсь себе — я вымоталась. Не от похода, не от скал, а от необходимости каждое утро собирать себя заново из того, что от меня осталось.

Нажимаю на имя «Демиан» раньше, чем успеваю передумать ещё раз.

Телефон у уха, гудки длинные, редкие — здесь, в горах, даже звонок звучит так, будто ему приходится карабкаться по склону, чтобы добраться до адресата. Один гудок. Второй. Я уже почти готова сбросить, придумать себе оправдание на завтра, но где-то на третьем гудке что-то внутри меня разжимается — медленно, нехотя, как узел на мокрой верёвке, который отказывался поддаваться весь день, а потом вдруг поддаётся весь и сразу.

Я не знаю, что скажу, если он ответит. Я даже не уверена, что хочу, чтобы он ответил именно сейчас, пока я ещё не придумала, как это всё произнести вслух, не прозвучав жалко.

Гудок обрывается щелчком.

* * *

— Делия.

Голос у него такой же, как всегда — ровный, с ленцой, будто он только что оторвался от чертежа и не особо торопится обратно. От этого голоса что-то в груди перестаёт сжиматься, хотя я и не признаюсь себе зачем он мне вообще нужен, этот эффект.

— Привет, — говорю я и слышу, как у меня самой голос садится на полтона, выдаёт усталость раньше, чем я успеваю её спрятать.

— Ты в горах. У тебя сигнал как у инопланетного корабля — то есть, то нет.

— Погода тут не для связи, Демиан, тут вообще-то скалы, а не вышки сотовой связи.

Короткая пауза, и я почти вижу, как он откидывается на спинку кресла, где-то в своём кабинете, среди макетов будущих офисных зданий и разбросанных эскизов. Потом он спрашивает, негромко, без нажима:

— Тебе нужно что-то?

Не «как дела», не «как поход». Сразу в точку. Будто знал, зачем я звоню, ещё до того, как я сама себе в этом призналась. И от этого знания внутри вспыхивает раздражение — острое, мгновенное, как от занозы.

— С чего ты взял, что мне что-то нужно? Может, я просто соскучилась по твоему занудству.

— Делия. — Он произносит моё имя так, будто уже всё понял, и это злит ещё больше, потому что он прав. — Ты не звонишь мне в десять вечера из леса просто так. Что случилось?

Я смотрю на угли костра, которые уже почти погасли, и выдыхаю через нос. Гордость шипит внутри, требует отшутиться, уйти в сторону, но сил играть эту партию до конца у меня уже нет.

— Мне нужно где-то пожить, — говорю я, и слова выходят быстрее, чем я планировала, будто сорвались с обрыва вместе со мной. — Недолго. Пока не найду квартиру.

Тишина на том конце длится ровно столько, чтобы я успела пожалеть о звонке. А потом он произносит, совершенно спокойно, будто речь идёт о доставке пиццы:

— У тебя есть комната. Давно уже есть.

Вот тут меня и подбрасывает. Не от слов, а от того, с какой лёгкостью он их говорит — будто давно всё решил за меня, будто ждал этого разговора с того самого дня, как я вернулась домой раньше времени и застала Тапера с Кейт. Будто знал, что я рано или поздно приползу.

— То есть ты мне тут типа одолжение делаешь, да? — цежу я сквозь зубы, хотя внутри что-то предательски теплеет от того, что комната, оказывается, давно есть. — Спасибо, братец, я прямо расцвела от такой щедрости.

— Я не делаю одолжение. — В его голосе появляется усмешка, та самая, знакомая с детства, когда он точно знает, что я сейчас кусаюсь не потому, что злюсь, а потому что не умею иначе благодарить. — Просто говорю очевидное.

— Очевидное — это что я взрослая женщина, которая прекрасно справляется сама.

— Конечно. Именно поэтому ты звонишь мне в десять вечера из леса.

Я фыркаю, и в этом фырканье больше смеха, чем мне хотелось бы показать. Старая игра, которую мы оба знаем наизусть: он подкалывает, я огрызаюсь, и где-то между этими уколами проскакивает то, что ни один из нас никогда не называет вслух — что мы, в общем-то, друг другу нужны куда больше, чем готовы признать.

— Ладно, умник. Когда можно привезти вещи?

— В субботу я дома весь день. Привози сколько влезет, в гараже место есть.

Простая фраза, и ничего особенного в ней нет, а я вдруг чувствую, как к горлу подкатывает что-то вязкое, тёплое — не то благодарность, не то облегчение, не то что-то, чему я пока не хочу давать имя. Он даже не спросил, что случилось с Тапером. Не полез с сочувствием, не стал читать нотации про то, что я предупреждала. Просто сказал: привози вещи. Он всегда так — заботится через дело, а не через слова, и почему-то именно от этого хочется разреветься больше, чем от любых утешений.

— Спасибо, Дем, — говорю я тихо, без сарказма, впервые за весь разговор.

— Не за что. — Пауза, короткая, а потом: — Выспись хоть немного. У тебя голос, как будто ты неделю не спала.

— Иди к чёрту со своей наблюдательностью, — беззлобно огрызаюсь я, и он смеётся на том конце, коротко, тепло, и этот смех остаётся где-то под рёбрами ещё долго после того, как я нажимаю отбой.

Я сижу на бревне, телефон тускнеет в руке, экран гаснет, и вокруг снова темнота — настоящая, горная, без единого городского огонька. Угли костра едва тлеют, и от них тянет сухим теплом, последним перед тем, как всё остынет окончательно. Где-то наверху, за кронами, звёзды такие частые, что кажется, будто небо треснуло и просыпалось вниз сквозь прорехи.

Здесь, на этой горе, под этим небом, всё, что было у меня с Тапером, наконец отпускает — не рывком, а медленно, как отпускает мышцу после долгого подъёма. А впереди — дом, в котором я не жила своей собственной жизнью уже очень давно, дом брата, который всегда знал обо мне больше, чем я готова была ему позволить.

Я не знаю ещё, что меня там ждёт. Знаю только, что в субботу повезу коробки в гараж, где, оказывается, для меня давно есть место.

Глава 2

Дом Демиана встречает меня тем же, чем встречал всегда: идеальной подъездной дорожкой, где ни одна плитка не смеет торчать криво, и газоном, подстриженным так ровно, будто его причёсывали расчёской, травинка к травинке. Я глушу мотор и ещё минуту сижу, не снимая рук с руля, разглядывая эту безупречность через лобовое стекло, по которому тянется мутный след от дворников. В багажнике позади меня три картонные коробки, и в них помещается вся моя взрослая жизнь. Туристические ботинки с засохшей грязью в протекторе, книги, которые я так и не дочитала, кофемашина, которую мы с Тапером покупали вместе и которую я теперь забираю себе из чистого принципа. Негусто для двадцати четырёх лет. Негусто, зато всё моё, вплоть до каждой вмятины на крышке.

Дверь открывается раньше, чем я успеваю выдернуть ключ из зажигания. Демиан стоит на крыльце в серой футболке и джинсах, босиком по тёплому ещё сентябрьскому камню, одна рука на дверной ручке, и смотрит на меня так, будто торчал здесь всё утро, хотя я предупредила его только вчера вечером, и то сообщением в три слова.

— Ты вовремя, — говорит он вместо приветствия и спускается по ступенькам, не торопясь, как человек, у которого всё утро расписано и моё опоздание в этом расписании было бы досадной графой.

— Я вообще никогда не опаздываю. Это у тебя избирательная память.

Он не отвечает. Просто обходит машину, кладёт ладонь на крышку багажника и открывает его, даже не подумав спросить. Я успеваю только возмущённо втянуть воздух, а он уже подхватывает самую тяжёлую коробку, ту, где кофемашина и зачем-то вложенные внутрь две сковородки, и поднимает её одним движением, без кряхтения, будто это пакет с хлебом, а не центнер моего упрямства. Картон жалобно скрипит у него под пальцами.

— Эй. — Я захлопываю дверцу и встаю напротив, скрестив руки, загораживая ему дорогу ровно настолько, чтобы это выглядело как принцип, а не как помеха. — Я сама справлюсь.

— Знаю. — Он обходит меня по дуге и несёт коробку к дому, даже не сбившись с шага.

— Тогда зачем ты её взял?

— Потому что могу. — Он не оборачивается, и в голосе нет ни капли самодовольства, только то ровное спокойствие, от которого мне всегда хочется либо обнять его, либо дать подзатыльник, в зависимости от погоды внутри. Сегодня внутри явно второе.

Я хватаю оставшиеся две коробки сама, по одной подмышку, назло, хотя локти начинают ныть ещё на середине дорожки, а угол нижней упирается мне точно в ребро. Иду следом, стараясь не отставать и не сопеть слишком громко. Воздух пахнет скошенной травой и чем-то сладковатым от соседского барбекю, дымком и жжёным сахаром, и после недели в лесу, где пахло хвоей, прелой листвой и костром, этот запах кажется до нелепости цивилизованным, будто его распылили из баллончика. Я привыкла к скалам и палаткам, а не к газонам и подъездным дорожкам. От этого несоответствия внутри что-то тихо скрежещет, как будто я надела чужую обувь и делаю вид, что размер мой.

В доме прохладно после уличного тепла, кожа на руках сразу покрывается мурашками. Пахнет деревом, полиролью и кофе, он, видимо, варил себе утром и не проветрил. Я ставлю коробки на пол в прихожей, рядом с идеально выровненной парой его кроссовок, и выдыхаю так, будто пробежала марафон с рюкзаком. Демиан уже наверху лестницы, ждёт, положив ладонь на перила, и кивает в сторону коридора.

— Пойдём, покажу комнату.

— Можно подумать, я не знаю, где у тебя тут комнаты. — Я вытираю ладони о джинсы, на них остаются серые полосы картонной пыли. — Я тут выросла, если ты забыл.

— Это другая комната.

Что-то в его тоне заставляет меня проглотить следующую реплику и подняться следом молча, через две ступеньки, как в детстве. Коридор на втором этаже тот же, что я помню, с той же фотографией родителей в простой чёрной рамке у окна: мама смеётся, запрокинув голову, отец смотрит на неё, а не в камеру. Но дверь, к которой он подходит, раньше вела в кладовку, забитую коробками с архивами, рулонами старых чертежей и пылью, от которой у меня в двенадцать лет начиналась чесотка.

Демиан берётся за ручку, толкает дверь внутрь, отступает на полшага, пропуская меня, и я замираю на пороге, так и не переступив его.

Комната небольшая, но светлая, с окном во двор, где растёт старый дуб, и солнце лежит на полу косым прямоугольником, в котором висит пыль. У стены кровать, застеленная бельём, которого я никогда раньше не видела в этом доме, тёмно-зелёным, точно под цвет моих глаз, и это совпадение слишком аккуратное, чтобы быть совпадением. У окна письменный стол, совершенно новый, ещё пахнущий лаком и стружкой. А на полках уже стоят книги, явно не его, судя по корешкам: пара романов, которые я когда-то упоминала при нём мимоходом, между делом, в машине, и путеводитель по горам Сьерра-Невады, куда я давно мечтала выбраться и говорила об этом вслух, кажется, один раз.

— Это ты... — начинаю я и замолкаю, потому что не знаю, как закончить фразу так, чтобы голос не подвёл.

— Сделал пару недель назад. — Он прислоняется плечом к дверному косяку, руки в карманах, лицо такое, будто речь идёт о покупке батареек, а не о том, что он готовил для меня комнату задолго до того, как я сама решилась уйти от Тапера. — На случай, если понадобится.

— На случай? — Я разворачиваюсь к нему, лихорадочно подбирая слова поедче, чтобы спрятать за ними то неудобное, горячее, что сейчас поднимается у меня под рёбрами и совершенно не вяжется с моим обычным репертуаром. — Ты знал, что я от него уйду, раньше меня самой?

— Я видел, как он на тебя смотрел последние полгода. — Голос ровный, без драмы, но в глазах на секунду проскакивает что-то жёсткое, и он гасит это быстрее, чем я успеваю рассмотреть. — Этого было достаточно.

Я молчу. Разглядываю зелёное покрывало, корешки книг на полке, дуб за окном, у которого ветка качается в такт чему-то своему, и чувствую, как к горлу подкатывает тот самый вязкий ком, что душил меня неделю назад у костра, когда он сказал «привози вещи» и больше ничего не добавил. Он всегда так. Делает вместо того, чтобы спрашивать, решает вместо того, чтобы советоваться, и обычно это бесит меня до зубовного скрежета. А сейчас почему-то хочется сесть на край этой кровати и разреветься, чего я не делала очень, очень давно, даже на похоронах держалась.

— Ты всегда был слишком уверен в своей правоте, — говорю я вместо этого, складывая руки на груди и следя, чтобы голос вышел привычным, лёгким и колючим. — Самоуверенный засранец.

— Обычно я оказываюсь прав. — Уголок его рта приподнимается на миллиметр, почти незаметно, и этого хватает, чтобы комок в горле ослабил хватку.

— Когда-нибудь ты ошибёшься, и я буду стоять рядом с попкорном.

— Жду не дождусь, — отвечает он, и в этом коротком обмене уколами проскальзывает что-то тёплое и привычное, то, на чём держалась вся наша жизнь до сегодняшнего дня. Только сегодня оно ощущается иначе, острее, будто под старой кожей наросла новая, ещё не загрубевшая, и каждое слово цепляет именно её.

Он отталкивается плечом от косяка и, не дожидаясь ответа, уходит вниз. За следующими коробками, надо полагать, потому что, конечно, он не оставит меня таскать их самой, сколько бы я ни возмущалась и сколько бы раз ни повторила слово «сама». Я остаюсь одна в этой новой-старой комнате, которую он готовил для меня ещё до того, как я поняла, что мне нужно место,

куда можно уйти. Сажусь на край кровати, и пружины почти не скрипят. Провожу ладонью по зелёному покрывалу, и ворс остаётся примятым полосой.

За окном шелестит дуб, листья уже начали шуршать по-сухому, не по-летнему. Внизу хлопает входная дверь. Демиан тащит из машины следующую коробку, не спросив разрешения, потому что, видимо, твёрдо убеждён: разрешение ему никогда и не требовалось.

* * *

Комнату я разбираю быстро. Привычка собирать и раскидывать вещи за десять минут вколочена двумя годами жизни на базе, где рюкзак либо упакован, либо потерян, третьего не бывает. Три коробки превращаются в кучу свитеров на кровати, стопку книг на подоконнике и зарядку, воткнутую в единственную розетку у стола. Стол, кстати, тоже его рук дело, я вижу это по тому, как ровно он выставлен относительно окна. Пустой, только в углу, придавленный степлером, лежит одинокий лист бумаги.

Я беру его машинально, двумя пальцами, думая, что это квитанция или инструкция от роутера, которую он оставил, чтобы я сама подключилась к вайфаю.

«Правила дома», — выведено сверху его почерком, ровным, как линии на чертеже, с одинаковым наклоном каждой буквы.

Дальше идут пункты, пронумерованные и выровненные, будто это список техники безопасности, который я зачитываю группе перед выходом на маршрут.

1. Возвращаться не позже полуночи в будни.
2. Предупреждать, если ночуешь не дома.
3. Уборка — по четвергам, по очереди.
4. Гостей согласовывать заранее.

Я перечитываю список три раза, надеясь, что на четвёртый он превратится в шутку, в розыгрыш, во что угодно. Не превращается. Внизу стоит подпись: «Д.», с точкой, будто это официальный документ, а не записка от брата, который час назад пыхтел с моими коробками на лестнице и даже не дал мне нести свои собственные сковородки.

Внутри закипает быстро, как вода в чайнике без присмотра. Комендантский час. Мне двадцать четыре года, я два года вожу группы через перевалы, где единственное правило это не сорваться, а он пишет мне, во сколько быть дома, будто я школьница, которую застукали с сигаретой за гаражом. Бумага в кулаке становится влажной по краям.

Я иду вниз, перескакивая ступеньки, и лист зажат в кулаке так, что углы уже загибаются внутрь.

Дверь в кабинет приоткрыта, из щели тянет холодком кондиционера. Демиан сидит за столом, развернув к себе монитор с чертежами, рукава рубашки закатаны до локтей, на предплечье светится синеватый отблеск экрана. Головы он не поднимает, когда я вхожу, будто ждал меня где-то между вторым и третьим прочтением списка.

— Это что? — Я кидаю листок на стол перед ним, прямо на распечатанный эскиз какого-то фасада.

Он опускает взгляд на бумагу, потом переводит на меня, и ни одна мышца в его лице не дёргается.

— Список правил. — Тон такой, будто речь о списке покупок, где между молоком и хлебом затесался мой комендантский час. — Чтобы мы оба понимали, как это будет работать.

— «Комендантский час», Демиан. Серьёзно? — Я упираюсь ладонями в край стола и наклоняюсь к нему, и столешница холодит кожу. — Мне двадцать четыре. Я водила людей через перевал на высоте три тысячи метров в грозу. Думаешь, мне нужно разрешение, чтобы вернуться домой в час ночи?

— Дело не в разрешении. — Он откидывается на спинку кресла, скрещивает руки, и кресло под ним даже не скрипит. В этом жесте столько спокойствия, что хочется запустить

в него степлером. — Дело в том, что это мой дом, и я хочу знать, что происходит под моей крышей.

— Под твоей крышей. — Я повторяю медленно, будто пробую слова на вкус и нахожу их прокисшими. — То есть я теперь не сестра, которая у тебя живёт, а постоялец с комендантским часом?

— Я этого не говорил.

— Ты это написал. — Я тычу пальцем в листок, лежащий между нами, попадаю прямо в первую строчку. — Пункт первый.

Что-то в его лице меняется, совсем немного: челюсть напрягается, желвак проходит под кожей, взгляд темнеет на тон против того, каким был минуту назад.

— Я просто хочу порядка, Карделия. — Голос по-прежнему ровный, но в нём прорезается металл, которого не было ни разу за всю дорогу от машины до комнаты. — Не вижу в этом ничего ненормального.

— Нормально это спросить. — Я выпрямляюсь и скрещиваю руки на груди, зеркаля его позу, хотя бы чтобы не чувствовать себя такой маленькой рядом с его столом, его креслом, его домом, где даже воздух расставлен по его правилам и выровнен по линейке. — А не класть список на стол, как будто я не к брату въехала, а поступила в интернат.

— Тогда предложи своё. — Он смотрит на меня в упор, и этот взгляд длится дольше, чем требует разговор о бытовых мелочах, слишком пристально, будто он пытается разглядеть во мне что-то, чему сам пока не подобрал названия. — Я не против обсуждать.

Я открываю рот, чтобы сказать что-нибудь достаточно острое и стереть с его лица это спокойствие, но внутри поднимается только глухое раздражение пополам с чем-то ещё, чему я не хочу давать имя ни сейчас, ни вообще. Поэтому я просто беру листок со стола, комкаю его одной рукой в тугой шарик и кидаю обратно. Он падает ровно на клавиатуру, рядом с его локтем, и застревает между клавишами.

— Разберёшься сам со своим списком, — бросаю я, разворачиваясь к двери. — У меня от него уже изжога.

За спиной тишина. Ни звука, ни скрипа кресла, ни попытки остановить меня, и это злит сильнее, чем если бы он крикнул вдогонку что-нибудь высокомерное. Я выхожу в коридор и захлопываю дверь кабинета громче, чем собиралась, так, что наверху вздрагивает рама с фотографией, тихо стукнув о стену, и эхо расползается по всему дому, будто даже стены здесь принадлежат ему и теперь обижены за него.

Я стою секунду в пустом коридоре, слушая, как в кабинете снова щёлкает мышка, деловито и ровно, будто ничего не произошло. Под рёбрами колотится что-то слишком живое и быстрое для обычной сестринской перепалки, и я прижимаю ладонь к груди, как будто это может помочь.

* * *

Ужин готов раньше, чем я успеваю решить, выходить ли из комнаты вообще в ближайшие сутки. Демиан стучит в дверь костяшками, два коротких удара, вежливых ровно настолько, чтобы не дать мне повода снова чем-нибудь хлопнуть, и сообщает через створку, что паста остывает. Я спускаюсь в футболке и спортивных штанах, волосы собраны в узел на скорую руку, и первое, что замечаю с нижней ступеньки: он накрыл стол на двоих, с вилками по обе стороны от тарелок и сложенными салфетками, будто это не обычный вторник, а что-то, требующее церемонии.

Мы садимся. Молчание сразу занимает всё свободное место за столом, усаживается третьим и ковыряет вилкой в собственной пустой тарелке. Я смотрю, как Демиан наливает себе воды, как ровно он держит графин, не уронив на скатерть ни единой капли, и думаю, что даже за ужином он умудряется выглядеть так, будто ведёт совет директоров и сейчас объявит голосование.

— Как Тапер? — спрашивает он, не поднимая глаз от тарелки, тоном настолько небрежным, что сразу ясно: вопрос обкатывался в голове весь день.

— Чудесно, наверное. — Я накручиваю спагетти на вилку и не ем, просто верчу, пока они не разматываются обратно. — У него теперь есть Кейт, и это, судя по всему, удобнее, чем быть со мной. Меньше пилить за то, что лазаю по горам, и больше кивать на всё, что он скажет.

— Ты в порядке?

— Я в полном. — Улыбка выходит слишком широкой, чтобы быть настоящей, я чувствую, как натягиваются щёки, и знаю, что он это видит. Плевать. — Классика жанра: девушка узнаёт, что лучшая подруга и парень ближе, чем предполагалось. Через пару лет расскажу эту историю на вечеринках, все будут смеяться.

Он не смеётся. Кладёт вилку поперёк тарелки и смотрит на меня чуть дольше, чем позволяет вежливость, и в этом взгляде проскальзывает что-то, чему я пока не нахожу названия. Не жалость, нет. Скорее попытка замерить, насколько глубоко я вру.

— Ты не ешь, — говорит он, кивая на мою тарелку, где паста давно остыла и свернулась вокруг вилки плотной спиралью.

— Я ем. Медленно.

— Карделия.

— Демиан. — Я повторяю его имя тем же тоном, каким он произнёс моё, с той же интонацией «я всё вижу», и мне почти смешно, как легко мы скатываемся обратно в старые роли, будто надели одежду на размер меньше и всё равно застегнулись. — Если ты сейчас скажешь мне доесть, потому что дети в Африке голодают, я встану и уйду к себе прямо с тарелкой.

— Я не собирался говорить про Африку. — Уголок его рта дёргается, почти улыбка, но он давит её раньше, чем она успевает расцвести, и запивает водой. — Просто ты вечером почти ничего не ела с дороги, а завтра у тебя группа.

— У меня группа через три дня, а не завтра. И я взрослая женщина, которая сама решает, когда ей хочется есть, а когда просто подвигать вилкой, чтобы не умереть со скуки за столом в тишине.

— Я помню, сколько тебе лет.

— Правда? — Я откладываю вилку, и звон металла о фарфор получается громче, чем я планировала, он повисает в кухне на лишнюю секунду. — Потому что, судя по списку правил на моём столе, ты думаешь, что мне четырнадцать и я вот-вот сбегу с мотоциклистом через окно.

— Это было про безопасность.

— Это было про контроль, Демиан. — Голос у меня спокойный, почти скучающий, но внутри всё туже затягивается узел. — Мне двадцать четыре. Я зарабатываю сама, вожу людей через перевалы, где одна ошибка и кто-то летит вниз, и я отвечаю за их жизни, а не только за свою. Я давно не та девочка, которой ты подписывал справки в школу.

Он молчит. Не находит, что ответить, и это молчание тянется дольше любой из его реплик за весь вечер. Он просто смотрит на меня так, будто впервые за долгое время видит по-настоящему: не сестру из воспоминаний, не подростка с разбитой коленкой, а кого-то другого, незнакомого и оттого неудобного. Под этим взглядом кожа на шее у меня теплеет сильнее, чем положено от ужина с остывшей пастой, и я отвожу глаза первой, хотя обычно не отступаю ни перед кем, включая инструкторов вдвое старше себя.

— Хорошо, — говорит он наконец, и голос звучит иначе, чем секунду назад, ниже и тише, без привычного металла. — Ты права. Я… подумаю над списком.

— Ты только что признал, что был неправ? — Я складываю руки на груди, пряча за сарказмом то, что его молчание выбило меня из равновесия сильнее, чем весь спор про комендантский час. — Запишу в календарь. Историческое событие.

Он не отвечает на подколку. Смотрит ещё секунду, будто на языке у него есть что-то ещё, и проглатывает это вместе с водой, а потом возвращается к своей тарелке и медленно наматывает спагетти на вилку, как будто ничего особенного не случилось. Я сижу напротив, ковыряю край салфетки и думаю, что воздух за этим столом за десять минут стал заметно гуще, и разбираться почему мне совсем не хочется.

* * *

Дом спит, а я нет. После того ужина я ворочаюсь час, наверное, слушаю, как в стене щёлкает термостат и как снаружи шуршит дуб, и в конце концов сдаюсь: горло сухое, будто я весь день жевала песок, а не спагетти.

Коридор тёмный, я иду по памяти, босиком, не глядя под ноги, и на кухне не включаю свет: глаза привыкли настолько, что лампа кажется оскорблением. На мне старая футболка, в которой я сплю ещё со времён колледжа, растянутая до такой степени, что ворот постоянно сползает с плеча. Мне, если честно, плевать. В два часа ночи в собственном, ну хорошо, в его доме я имею право не думать о том, как выгляжу.

Только я не одна.

Он сидит за барной стойкой, подсвеченный синим мерцанием ноутбука и жёлтым квадратом из приоткрытого холодильника, будто сам не решил, в каком освещении хочет существовать этой ночью. Рубашка расстёгнута на две пуговицы больше, чем днём, рукава закатаны неровно, волосы примяты с одной стороны, как будто он несколько раз запускал в них пятерню. Вид у него не тот безупречный, к которому я привыкла за ужином: усталый, помятый, человеческий.

— Не спится? — спрашиваю я, и голос выходит хриплым со сна, ниже обычного.

— Работаю. — Он не поднимает глаз от экрана, но палец над клавиатурой замирает на половине движения. — Тендер по офисному центру в Санта-Монике, сроки горят.

— В три часа ночи горят сроки?

— В три часа ночи я один человек, кто может сосредоточиться без звонков.

Я подхожу к холодильнику, достаю запотевшую бутылку воды с верхней полки, и в этот момент он всё-таки поднимает голову. На звук, наверное. Или просто так. Наши взгляды встречаются над открытой дверцей, в этом неровном жёлтом свете, от которого всё выглядит немного ненастоящим, будто мы оба внутри чужого сна и вот-вот проснёмся в разных местах.

Он смотрит дольше, чем нужно для простого «тебе тоже не спится». Смотрит так, будто впервые видит меня в этой футболке, с распущенными после душа волосами, с голыми ногами, которых я никогда особо не стеснялась, но сейчас мне вдруг кажется, что я забыла надеть что-то важное. Что-то в его лице сдвигается на секунду, может, меньше, будто за привычным выражением приоткрывается дверь в комнату, куда мне вход не полагался, и я успеваю заметить проблеск чего-то совсем не братского, прежде чем он отворачивается обратно к экрану и щёлкает мышкой слишком громко.

— Воды хочешь? — спрашиваю я, просто чтобы сказать хоть что-то, пока тишина не стала оглушительной.

— Нет, спасибо.

Я закрываю холодильник, и кухня снова тонет в полумраке, только экран ноутбука льёт на его лицо холодный синий свет, вычерчивая скулу и линию челюсти. И я замечаю то, чего не замечала раньше, за семь лет под одной крышей, с коротким перерывом на переезд к Таперу: как устало опускаются его плечи, когда он думает, что на него никто не смотрит, как расстёгнутый ворот открывает ключицу и тень под ней, темнее, чем должна быть обычная тень. Замечаю и тут же злюсь на себя за то, что замечаю, будто поймала себя за подглядыванием в замочную скважину чужой спальни.

— Ты бы поспал, — говорю я, и выходит строже, чем хотела, будто это я теперь раздаю тут указания про режим.

— Ты тоже. — Уголок его рта дёргается, почти та же полуулыбка, что за ужином. — У тебя группа через три дня, не забыла?

— Какая память у тебя избирательная. Про группу помнишь, про то, что мне двадцать четыре, забываешь.

Он не отвечает сразу. Смотрит на меня ещё раз, и в этом взгляде снова мелькает что-то быстрое, как рыба под тёмной водой, которую замечаешь только по разошедшимся кругам. Я жду колкости в ответ, жду, что он вернёт нас в привычную колею братского подначивания, где всё понятно и безопасно, но он молчит, и это молчание давит сильнее любых слов, заполняет кухню до потолка, оседает на коже вместе с холодной испариной бутылки у меня в руке.

— Спокойной ночи, — говорю я наконец, потому что кто-то должен это прервать, и ухожу раньше, чем собиралась, почти убегаю, босиком по плитке, которая должна быть ледяной, но я этого даже не чувствую.

Уже в коридоре, у двери своей комнаты, я прижимаю бутылку ко лбу, будто холод может что-то исправить, и ловлю себя на том, что сердце колотится так, словно я сорвалась со скалы и повисла на одной верёвке. Без всякой причины. Просто потому, что брат посмотрел на меня чуть дольше обычного на кухне в три часа ночи. Усталость, думаю я. У обоих просто усталость, и свет холодильника делает странные вещи с человеческим лицом.

Я не очень в это верю, но закрываю дверь, щёлкаю задвижкой, которой раньше здесь не было, и решаю, что на сегодня с меня достаточно.

* * *

Утро начинается с запаха кофе и с голоса брата из коридора, слишком ровного для простого замечания.

— В три часа, значит, — говорит он, не оборачиваясь от кофемашины, когда я вхожу на кухню, щурясь от света, который бьёт прямо через окно и явно выбрал этот угол специально. — Я слышал, как ты закрывала дверь.

— Доброе утро и тебе. — Я тянусь мимо него за кружкой, задевая локтем его рукав, и ткань оказывается тёплой.

— Я не спрашиваю, чем ты занималась. — Он всё-таки поворачивается, и на лице у него то самое выражение, которое я помню с шестнадцати лет: брови чуть сведены, губы сжаты в линию, которая у кого угодно другого сошла бы за безразличие, а у него означает, что решение насчёт меня уже принято и обжалованию не подлежит. — Просто в три часа ночи ходить по дому с водой не самая безопасная привычка.

— Безопасная для кого? Для твоего ламинированного пола?

Кофе льётся в кружку слишком долго, струйка тонкая и упрямая, и за это время я успеваю вспомнить вчерашний список на столе, комендантский час, выведенный его ровным архитекторским почерком, будто это чертёж фундамента, а не моя жизнь. Внутри поднимается что-то горячее, знакомое ещё с тех времён, когда он проверял, во сколько я пришла с вечеринки, светя мне фонариком в лицо на крыльце, пока я пыталась дышать в сторону и не спалиться с запахом пива.

— Я переехала сюда не для того, чтобы снова отчитываться тебе за каждый чёртов шаг, Демиан, — говорю я, и голос выходит жёстче, чем я планировала, но тормозить поздно. — Мне не шестнадцать. Контрольный список развешивать не надо, я и так помню расписание твоего недовольства наизусть.

Он молчит секунду, потом ставит свою чашку на стол, беззвучно, придерживая дно пальцами, слишком аккуратно для человека, которому действительно всё равно.

— Я просто хочу знать, что с тобой всё в порядке, — говорит он, и в этом «просто» слышится всё, чего он никогда не произнесёт вслух: что три часа ночи для него не про режим сна, а про телефонный звонок семь лет назад, который он до сих пор помнит вместе со звуком упавшей из рук чашки.

Но сегодня я не готова быть снисходительной к его призракам. Не в восемь утра, не на голодный желудок, не после списка правил, придавленного степлером к моему новенькому столу.

— Так вот, чтобы ты знал заранее. — Я скрещиваю руки, кружка обжигает ладонь через керамику. — Я буду приходить и уходить, когда мне, блин, вздумается. У меня работа, у меня группы, иногда поздние смены, иногда я зависаю у друзей, и тебе не нужно устраивать перекличку каждый раз, как я переступаю порог. Я плачу за себя сама, если ты забыл. За аренду инвентаря, за бензин, за всё, что мне нужно. Я не нищая студентка, которую ты из милости подобрал с улицы.

Я жду, что он ответит так же резко, вернёт мне привычную пикировку, где последнее слово всегда остаётся за ним, потому что он умеет говорить тише, когда злится сильнее. Но вместо этого его плечи опускаются, едва заметно, на сантиметр, так опускаются плечи у человека, который только что перестал держать что-то тяжёлое и ещё не понял, куда девать руки. И он кивает.

— Хорошо, — говорит он просто. — Ты права. Извини.

Это настолько не похоже на него, что я на секунду забываю, что собиралась сказать дальше, и так и стою с открытым на половине фразы ртом. Демиан не сдаётся первым. Демиан спорит до упора, пока не разложит свою правоту по пунктам, с цифрами и логикой, как на совещании по проекту. А тут одно слово, и всё, белый флаг, будто спор ему вдруг перестал быть нужен.

— Просто... — Он снова берёт чашку, крутит её в ладонях, разглядывая дно, на меня не смотрит. — Я не хочу снова кого-то потерять. Вот и всё.

Фраза падает в кухню и остаётся лежать там, слишком тяжёлая для утреннего света, для запаха кофе, для подсыхающих на сушилке вчерашних тарелок. Я смотрю на него, на эти голубые глаза, которые сейчас упорно изучают стол, на пальцы, сжимающие кружку чуть крепче, чем нужно, и впервые за долгое время вижу не брата-опекуна с его списками и комендантскими часами, а человека, который семь лет назад в одну ночь потерял родителей и с тех пор вздрагивает от каждого позднего звонка.

Внутри у меня что-то обрывается и переворачивается одновременно, будто я готовилась к драке, встала в стойку, а меня вместо удара обняли.

— Демиан, — начинаю я уже мягче, толком не зная, что хочу сказать дальше, но он уже отворачивается к раковине и споласкивает чашку, которую даже не допил. Момент закрывается так же быстро, как открылся, и я остаюсь стоять посреди кухни с ощущением, что увидела что-то, чего видеть не должна была.

* * *

Вечер садится на дом тяжело, по-осеннему. Я выхожу в гостиную за чаем, который обещала себе с самого утра, и застаю Демиана на полу: пиджак брошен на подлокотник, рукава рубашки закатаны, вокруг расставлены коробки с выцветшими крышками, а между ними разложены веером фотографии, как карты в чужом, непонятном мне пасьянсе.

— Что это за раскопки? — спрашиваю я, остановившись в дверях, хотя ответ вижу сама: наши родители на этих снимках моложе, чем я их помню, смеющиеся, с лицами, которые я давно перестала держать в голове отдельно от двух портретов в рамках на каминной полке, слишком приглаженных и официальных для настоящей памяти.

— Нашёл коробку в гараже, когда искал инструменты, — говорит он, не поднимая головы и перекладывая два снимка местами. — Думал выбросить лишнее. Застрял.

Я опускаюсь на пол напротив, поджав ноги, и чай остывает в кружке, забытый на ковре. Отец на этих снимках всё время что-то чертит: на салфетке, на обороте чека, даже на запотевшем стекле машины, судя по одному кадру, где видны его пальцы и половина кривого фасада. Мама смотрит в камеру так, будто знает про фотографа какой-то секрет и заранее прощает

ему всё, что он с этим секретом сделает. Я беру один снимок, другой, и бумага под пальцами шершавая, старая, пахнущая картоном и чем-то смутно знакомым, то ли пылью, то ли просто временем.

Демиан вытаскивает один снимок из общей кучи, задерживает его в руке дольше остальных, проводит большим пальцем по краю и только потом протягивает мне.

— Вот, — говорит он. — Думаю, тебе лет пять.

Я беру фотографию. На ней я, рыжая, с двумя кривыми косичками, которые явно заплетал не профессионал, сижу у него на плечах, вцепившись в его волосы так, что ему наверняка было больно. Он держит меня за щиколотки и смеётся, запрокинув голову, в каком-то парке, которого я не помню вообще, будто это была не моя жизнь, а чья-то чужая, одолженная мне на один кадр.

Несколько секунд мы оба молчим, глядя на один и тот же квадратик глянца, и слышно только, как тикают часы в прихожей. Что-то в груди у меня сжимается тупо и неожиданно, без предупреждения. Не грусть и не ностальгия, что-то третье, пока безымянное, слишком тёплое для обычного детского воспоминания.

— Ты тогда был не таким занудой, — говорю я, потому что тишина становится невыносимой раньше, чем я успеваю понять почему. — Смотри, улыбаешься. Настоящим человеческим способом, без списка правил в кармане.

Я жду привычного ответного укола. Что-то про то, что списки правил появились как раз из-за меня, или что без них в доме давно завелись бы тараканы, хаос и мои ботинки посреди коридора. Жду, что он фыркнет, закатит глаза, вернёт разговор в ту колею, где мы оба знаем свои роли и можем безопасно огрызаться друг на друга хоть вечность.

Но он не смеётся.

Он смотрит на меня, не на фотографию, именно на меня, так, будто сличает ту рыжую девчонку с косичками и ту, что сидит сейчас перед ним на полу гостиной, подтянув колени к груди, в старой растянутой футболке. И результат сличения ему либо не нравится, либо нравится слишком сильно, я не могу разобрать, а разбираться мне вдруг становится страшно. Взгляд у него долгий, непозволительно долгий для брата, который перебирает старые снимки, и от этого взгляда по спине у меня бежит холодок, совсем не похожий на сквозняк из приоткрытого окна.

— Да, — произносит он наконец, и голос звучит странно хрипло, будто перед этим он долго молчал, а не разговаривал со мной минуту назад. — Тогда всё было проще.

Он забирает фотографию у меня из рук, и пальцы на секунду задевают мои, сухие и тёплые, и это прикосновение длится ровно столько, сколько нужно, чтобы я его заметила, и ни мгновением дольше. Потом кладёт снимок обратно в коробку, аккуратно, лицом вниз, будто прячет что-то, на что сам пока не готов смотреть.

Я поднимаюсь с пола слишком резко, перед глазами плывут тёмные точки, чай давно остыл, и я говорю что-то про усталость, про раннюю смену завтра, которой нет, слова цепляются одно за другое без всякого смысла, лишь бы заполнить тишину звуком. Демиан не удерживает меня, не спорит, не говорит своё обычное «ещё рано». Просто смотрит, как я иду к лестнице, и этот взгляд я чувствую на спине всю дорогу до своей комнаты, будто он прожигает ткань футболки насквозь.

Я закрываю дверь и прислоняюсь к ней спиной, слушая, как внизу шуршат фотографии, которые он продолжает перебирать в одиночестве. Дом, куда я переехала три дня назад, чтобы спрятаться от обломков собственной жизни, вдруг кажется гораздо менее безопасным местом, чем казался утром, и дело не в списке правил на столе, не в комендантском часе и не в его привычке командовать всем, до чего дотягивается.

Дело в том, как он на меня посмотрел. И в том, что я, кажется, знаю это выражение, потому что видела такое же у себя в зеркале, когда ещё не готова была себе в нём признаться.

Глава 3

Зима в этом доме пахнет кофе и хлоркой от только что вымытого пола. Демиан нанял уборщицу по вторникам, разумеется, не посоветовавшись со мной, и, разумеется, вписал это в тот же список на холодильнике, который держится на магните в виде жёлтого такси. Там, кроме комендантского часа, значится ещё десяток пунктов, выведенных его ровным чертёжным почерком, с одинаковым наклоном, будто это не памятка для сестры, а экспликация к проекту. Я не выполняю ни одного. Хожу по сияющему полу в носках и оставляю матовые следы, просто чтобы они были.

Три месяца. Иногда мне кажется, что прошла вечность, а иногда — что всего неделя с того вечера со старыми альбомами, который я с тех пор предпочитаю не вспоминать вовсе. Я тогда списала странный взгляд брата на усталость, на тусклый свет торшера и на собственное слишком живое воображение, упаковала всё это и задвинула подальше, как коробку с зимними вещами в июле. Утренние стычки с тех пор стали таким же ритуалом, как его кофемашина: она шипит, плюётся паром и выдаёт двойной эспрессо ровно в семь пятнадцать, минута в минуту, и я уже научилась просыпаться за секунду до этого звука.

— Маршрут сегодня какой? — спрашивает Демиан, не поднимая головы от телефона, зажатого между плечом и ухом.

Голос ровный, деловой, без единой зазубрины. Таким уточняют у поставщика сроки поставки бетона, а не у родной сестры, куда она собирается идти работать. Он даже не смотрит в мою сторону: водит большим пальцем по экрану, что-то пролистывает, и на запястье у него тикают часы, которые стоят как моя машина.

— Тот же, что и всегда по вторникам, — отвечаю я, вытаскивая из шкафа термос и стукая крышкой громче, чем нужно. — Петля через Систерс-Пик, группа из восьми человек, обратно к пяти.

— К пяти тридцати — говорит он так, будто это не возражение, а факт, уже проверенный, завизированный и подшитый в папку. — Я звонил в офис. Хлоя сказала, что в это время года вы обычно задерживаетесь из-за светового дня.

Я замираю с термосом в руке. Крышка остаётся на столешнице, крутится немного, успокаивается. В ушах неприятно гудит тишина между нами.

— Ты звонил в мою фирму?

— Уточнить время, — пожимает плечами он и наконец отрывает взгляд от экрана. Голубые глаза смотрят спокойно, почти равнодушно, и именно это равнодушие бесит сильнее всего остального. — Ничего криминального. Хотел знать, когда ждать тебя дома.

— Дома, — повторяю я с нажимом, будто пробую слово зубами на прочность. — Демиан, мне двадцать четыре. Я не туристическая группа, которую отмечают в журнале по возвращении на базу. Я взрослый человек, который в состоянии сам написать тебе смс, если задержится.

— Которую ты не пишешь, — парирует он. В голосе проскальзывает что-то похожее на упрёк, хотя лицо остаётся прежним, спокойным, непробиваемым, как фасад его собственного офиса на бульваре. — Я не держу тебя за ребёнка, Карделия. Я просто хочу знать, где ты.

— Это и есть держать за ребёнка. — Я со стуком ставлю термос на стол, и он отзывается глухо, по-металлически обиженно. — Взрослых людей не отслеживают через их работодателей.

— Я не отслеживаю. — Он произносит это с той же терпеливой ровностью, с какой, наверное, объясняет инвесторам отклонения в смете: ни одной лишней эмоции, всё по пунктам. — Я забочусь.

Это наш обычный диалог, отполированный до автоматизма за три месяца. Как ступенька лестницы, по которой ходишь с закрытыми глазами и всё равно знаешь, где скрипнет. Я знаю свою реплику, он знает свою, мы оба знаем финал: короткая вспышка, мой уход, хлопок двери,

и через восемь часов всё сначала. И всё же в это утро что-то идёт не по сценарию, хотя слова те же самые, расставленные в том же порядке.

Я открываю холодильник резче, чем нужно, и свет изнутри бьёт по глазам. Достаю йогурт, который есть не собираюсь, просто чтобы занять руки, чтобы не стоять напротив него с пустыми ладонями и не ловить этот взгляд. Слишком внимательный для простого уточнения маршрута. Холод из холодильника ползёт по голым щиколоткам, а мне почему-то жарко в районе шеи.

— Я напишу, если задержусь, — говорю я холодильнику, полке с яйцами, банке с горчицей, кому угодно, только не ему. — Доволен?

— Буду, когда напишешь.

Я хлопаю дверцей так, что внутри звякают банки, и иду к выходу, на ходу натягивая куртку, нашариваю в кармане ключи от машины. Они цепляются за подкладку, и это мелкое сопротивление почему-то доводит до белого каления сильнее, чем весь разговор. У двери оборачиваюсь. Не потому что хочу, а потому что годами наработанная привычка требует проверить, не смотрит ли он мне вслед с тем выражением «веди себя хорошо», которое я ненавидела ещё подростком.

Он смотрит. Но не так.

Я отвожу взгляд первая. Не потому что злюсь: злость я бы выдержала, она горячая и понятная, с ней легко выйти, хлопнув дверью, и не оглядываться до самого шоссе. Это другое, тихое и липкое, застревающее где-то под рёбрами и мешающее нормально вдохнуть. Смотреть в его сторону дольше секунды вдруг становится физически неприятно, будто я слишком долго держу раскрытую ладонь над конфоркой и уже чувствую, как кожа начинает стягиваться.

Крыльцо встречает меня морозом, который щиплет щёки и ставит голову на место, как подзатыльник. Перила покрыты инеем, ступеньки скрипят под подошвами, воздух пахнет снегом и чужим дымом из соседней трубы. Только за рулём, уже выезжая на шоссе и глядя, как город расползается в боковом стекле серыми коробками, я позволяю себе признать то, что отталкивала всю дорогу до машины: с осени что-то переменилось в том, как я реагирую на его тон. Раньше это было раздражение, обычное, братско-сестринское, с привкусом подросткового бунта, из той же серии, что и спор за пульт от телевизора. Теперь оно острее и глубже. Злюсь я по-прежнему, но под злостью прячется что-то ещё, чему я отказываюсь подбирать имя, потому что стоит его произнести, хоть мысленно, хоть шёпотом в пустом салоне, и назад дороги уже не будет.

Я выкручиваю радио погромче, какая-то станция крутит старую вещь с гитарой и слишком бодрым басом, и этого хватает, чтобы заглушить собственную голову. Веду на запад, к горам, где снег на вершинах уже лёг белой коркой и где восемь взрослых людей будут ждать от меня только карту маршрута, инструктаж по страховке и уверенный голос. Не отчёта о времени возвращения.

* * *

На базе пахнет кофе из термоса, мокрой резиной и пылью от старых матов. Снаряжение разложено на деревянных стеллажах, карабины позвякивают от сквозняка, у входа подтаивает лужица от чьих-то ботинок. Чарльз сидит на краю скамьи и перематывает верёвку аккуратными кольцами, укладывая виток к витку с той же методичностью, с какой другие складывают носки. Когда я вхожу, он окидывает меня взглядом снизу вверх, медленным и почти извиняющимся, будто боится, что я замечу.

— Ты сегодня выглядишь так, будто тебя переехал грузовик, — говорит он, и верёвка на секунду замирает у него в руках.

Я слышу в этом не подначку, а настоящую заботу, и именно она раздражает сильнее, чем любая прямая шпилька.

— Недосып, — отрезаю я, вешая куртку на крюк рядом с его. Крюк скрипит, куртка сползает, я возвращаю её на место и цепляю петлёй. — Ничего интересного.

Недосып — это правда ровно наполовину. Я действительно ворочалась полночи, слушая, как внизу щёлкает остывающий радиатор, но считала не овец. Я считала, сколько секунд выдержу, прежде чем перестану пялиться в потолок и признаюсь себе, что думаю о брате чаще, чем положено сестре. Эту часть я оставляю при себе вместе с привкусом стыда, который в последнее время поселился где-то под языком, кисловатый, как после таблетки, и не желает уходить ни с кофе, ни с зубной пастой.

Телефон в кармане куртки коротко вибрирует о стену шкафчика. Я знаю, не глядя, от кого: у Демиана особая, настойчивая дрожь сообщений, которые требуют ответа немедленно, будто он даже через провайдера умеет говорить тоном старшего. Я вытаскиваю телефон, вижу превью на заблокированном экране, «Во сколько сегодня закончишь?», и убираю обратно, не проведя пальцем.

Чарльз поднимает глаза от верёвки. Смотрит недолго, ровно столько, чтобы я поняла: он заметил больше, чем собирается произнести вслух, и сам этому не рад.

— Брат? — спрашивает он осторожно, почти извиняясь за сам вопрос.

— Брат, — подтверждаю я, затягивая страховочную систему на поясе чуть резче, чем требуется. Лента впивается в бедро, и это даже приятно.

— У тебя такое лицо делается. — Он складывает последнее кольцо и кладёт бухту на полку, не глядя на меня прямо, будто стесняется собственной наблюдательности. — Как у меня, когда отец звонит спросить, почистил ли я зубы. Строгий, что ли?

Он смеётся коротким тихим смешком, вовсе не собираясь попадать в точку, и попадает так метко, что у меня на секунду перехватывает дыхание. Не от смешного. От того, насколько Чарльз, сам того не подозревая, нашёл слово «строгий» для вещи, у которой в моей голове давно нет ни одного приличного названия.

— Что-то вроде, — говорю я и меняю тему быстрее, чем следовало бы, так быстро, что он успевает моргнуть. — Группа сегодня где, восьмая связка?

— Восьмая, да. Новенькие. — Он кивает в сторону парковки, где уже топчутся восемь человек в разномастных куртках, явно купленных вчера специально для похода, с неотрезанными бирками на капюшонах. — Повезло тебе.

Я выхожу к ним, и что-то внутри само собой выравнивается, как стрелка компаса, которую перестали трясти. Это я умею. Это я знаю, как делать, без оговорок и сомнений, и мой голос звучит ровно, без тени того смятения, которое тянется за мной от кухни с самого утра.

— Систерс-Пик, маршрут средней сложности, — говорю я, оглядывая группу и сразу отмечая, кто уже заскучал, кто напуган, а кто фотографирует облака вместо того, чтобы слушать. — Идём компактно, не растягиваемся больше чем на десять метров, на снежных участках передо мной никто. Вопросы?

Девушка с косичками, похожая на студентку, которая впервые оторвалась от библиотеки, неуверенно поднимает руку в слишком длинной для неё варежке.

— А если устанем?

— Скажете, — отвечаю коротко и чуть мягче, чем прозвучало бы у Демиана. — Я не телепат, Селена.

Я успела запомнить её имя по списку, и это маленькое узнавание работает лучше любого инструктажа: она улыбается и наконец опускает плечи, которые до этого держала у самых ушей.

Инструктаж занимает десять минут, подъём и спуск — почти весь день, и всё это время я не думаю ни о чём, кроме снега, страховки, темпа и дыхания отстающих. Голова впервые за утро принадлежит мне целиком, без постороннего голоса, уточняющего время возвращения.

После смены, когда группа уже грузится в автобус с красными щеками и тем особым счастливым отупением, которое бывает после первых гор, а снаряжение разложено обратно по

местам, Чарльз подходит ко мне. Переминается с ноги на ногу, трёт ладонью затылок, будто ещё решает, стоит ли вообще начинать.

— Слушай, Карделия… — Он убирает выбившуюся прядь волос обратно за ухо, не глядя мне в глаза. — Я тут подумал. Может, как-нибудь не на базе? Не работа, в смысле. Просто… — Он замолкает, краснея так честно, что это выглядит почти трогательно в своей неуклюжести. — Просто посидеть где-нибудь.

Я молчу на секунду дольше, чем нужно, и смотрю на него: на эту робкую искреннюю попытку, на шапку, которую он мнёт в руках, на царапину от карабина на тыльной стороне ладони. Внутри поднимается лёгкое раздражение, смешанное с виной за то, что я не могу ответить ему тем же теплом, каким он сейчас смотрит на меня.

— Подумаю, — говорю я вместо прямого отказа, и это звучит честнее, чем я ожидала от себя самой.

* * *

На стоянке автобус уже отъезжает, разбрызгивая серую слякоть из-под колёс, и мы с Чарльзом остаёмся вдвоём у моей машины. Той самой, которую Демиан отговаривал брать в зимний рейс: резина, мол, не та. Резина та. Просто брат физически не способен пройти мимо шанса объяснить, как мне надо жить, и при этом ни разу не повысить голос.

Чарльз переминается, засунув руки глубоко в карманы куртки, и смотрит не на меня, а куда-то в район моего плеча, будто там написан текст, который он забыл выучить наизусть. Изо рта у него идёт пар короткими рваными облачками.

— Карделия, — говорит он, и голос у него звучит так, словно он решился не на вопрос, а на прыжок с десятиметровой вышки. — Я правда хотел спросить. Не просто так подумать, а спросить. В пятницу. Ужин. Со мной.

Он выдыхает после этого всей грудью, как после подъёма с тяжёлым рюкзаком, и я вижу, как у него порозовели уши. От холода или от волнения, не разобрать, да и сам он, похоже, не разбирает.

Где-то внутри быстро, без спроса, выстраивается очередь из мыслей, и каждая толкает следующую локтем в спину. Тапер, чьё имя я вытравливаю из телефона каждую неделю заново, потому что он с упорством зомби находит новые способы написать. Пустая квартира Мии, надувной матрас, скрипящий при каждом повороте, и ощущение гостьи в собственной жизни. И прямо за ними, нагло, без очереди, лезет Демиан. Не лицом, а голосом, тем самым, утренним, деловым: «Во сколько группа возвращается». Как будто я груз, который надо принять по накладной.

Вот что мне нужно. Не романтика, если быть честной хотя бы наедине с собой, а подтверждение, что я всё ещё способна сама решать, куда мне деваться в пятницу вечером и перед кем за это не отчитываться.

— Давай, — говорю я, и получается быстрее, чем я собиралась это сказать. Так быстро, что сама слышу в своём голосе нотку вызова, адресованную вовсе не Чарльзу.

Он поднимает на меня взгляд. Серые глаза расширяются на долю секунды, будто он не рассчитывал на такое простое «да» после стольких тренировочных заходов и уже заготовил запасной вариант с отступлением. У меня коротко дёргается совесть: я согласилась не ради него, а ради внутреннего спора, который веду сама с собой уже месяц.

— Правда? — переспрашивает он, и в этом «правда» столько неприкрытой радости, что мне делается почти стыдно за собственные мотивы. — То есть да, окей, круто. Я знаю одно место, не пафосное, нормальное, с хорошей едой…

Он сбивается, начинает заново, перечисляет какой-то ресторан на бульваре, рассказывает про парковку, про то, что можно и пешком, если я не против прогуляться, что там летом ставят столики на улицу, но сейчас, понятно, не сезон. В этом сбивчивом перечислении деталей

столько неловкой искренности, что я невольно улыбаюсь по-настоящему, а не той защитной ухмылкой, которую обычно включаю на автомате.

— Чарльз, — перебиваю я, — это ужин, а не экспедиция. Расслабься.

— Да, точно. — Он смеётся коротко, с облегчением, и убирает выбившуюся прядь за ухо тем же жестом, что и на базе час назад. — Я заеду за тобой. Или нет, лучше встретимся там, если тебе так удобнее.

Удобнее мне, чтобы он вообще никогда не видел дом Демиана. Не видел ворот, подъездной дорожки с идеально вычищенным снегом и брата в дверном проёме с тем выражением лица, которое появляется у него каждый раз, когда чужая машина подъезжает ближе положенного.

— Там, — говорю я. — Пришли адрес.

Он кивает несколько раз подряд, быстро, как школьник, которому разрешили не идти на контрольную, и неловко машет мне на прощание, прежде чем сесть в свою машину. Она припаркована криво, вторым рядом, носом в сугроб, будто всё это время он боялся, что достанет ключи и передумает.

Я сажусь за руль, завожу мотор и какое-то время просто сижу, глядя, как дворники сгребают с лобового стекла снежную крошку и размазывают её по краям мутными дугами. Печка гудит, оттаивает иней внизу стекла. Внутри у меня смесь удовлетворения и лёгкой паники, примерно такая, как если подписать документ, не дочитав мелкий шрифт, и бодро убрать копию в сумку.

По дороге домой я проговариваю про себя фразу, которой сообщу Демиану, пробую её на вкус и примеряю, как неудобную обувь в магазине. «В пятницу ужинаю с Чарльзом» звучит слишком весомо, с ударением на каждом слове. «В пятницу занята» слишком похоже на оправдание, а оправдываться я не собираюсь принципиально. В итоге останавливаюсь на чём-то среднем, нарочито скучном: скажу между делом, за ужином, не поднимая взгляда от тарелки, тем же тоном, каким он спрашивает про маршруты. Короткая деловая справка, и точка.

Снег за окном превращается в морось, город расплывается огнями, стоп-сигналы впереди растягиваются красными полосами по мокрому стеклу. И я ловлю себя на том, что уже сейчас, за сорок минут до возвращения, слежу мысленно не за дорогой, а за реакцией, которую хочу увидеть на лице брата, когда произнесу это вслух. В моём предвкушении куда больше внимания и остроты, чем положено человеку, который всего лишь ждёт разрешения жить собственной жизнью.

* * *

Дома пахнет бергамотом. Демиан заварил чай, как делает каждый вечер, пока я ещё переодеваюсь после смены, и выставил на стол две чашки, мою с отколотым краем и свою. Это один из тех мелких ритуалов, которые раздражали меня в сентябре до зубовного скрежета, а теперь почему-то нет. Я беру чашку, добавляю молока больше, чем нужно, смотрю, как белое заворачивается в тёмном спиралью, и говорю это в пустоту между нами, в кружку, а не ему.

— Кстати. В пятницу ужинаю с Чарльзом.

Я жду обычного набора: «во сколько вернёшься», может быть, короткое «хорошо», сказанное тем тоном, которым он реагирует на сводку погоды. Вместо этого наступает тишина. Длиннее, чем требуется для простого «ладно», настолько длиннее, что я слышу, как за окном шуршит по карнизу мокрый снег.

— С Чарльзом? — переспрашивает он, и чашка в его руке замирает на полпути ко рту, будто он забыл, зачем её поднял.

— С тем самым, — говорю я, выливая остатки заварки в раковину, где она никому не мешает. — Коллега мой. Страхует меня на скалах. Ты его видел на фото с базы, если вообще смотрел.

— Он твой коллега, — повторяет Демиан медленно, как будто проверяет каждое слово на несущую способность. — Вы работаете вместе каждый день.

— И что?

— А то, что это не самая удачная идея, смешивать личное с рабочим. Если не сложится, тебе с ним ещё группы водить. Это непрофессионально.

Я поворачиваюсь к нему, прислоняюсь бедром к столешнице и складываю руки, чувствуя, как внутри что-то выпрямляется и звенит, как отпущенная пружина. Край столешницы холодный даже сквозь джинсы.

— Непрофессионально, — повторяю я. — Серьёзно? Ты сейчас читаешь мне лекцию по деловой этике из-за ужина в пятницу?

— Я просто говорю, что это неразумно. — Он всё-таки отставляет чашку, и фарфор стукает о дерево чуть громче, чем нужно. — Ты его почти не знаешь. Он старше тебя на три года, работает в поле, где полно рисков, и если между вами что-то не заладится, тебе с ним каждую неделю лезть на одну скалу. Это не считая того, что...

— Что?

— Ничего, — обрывает он сам себя, слишком резко для человека, у которого действительно ничего на уме.

Я смотрю на него и впервые за три месяца под одной крышей замечаю то, что раньше послушно списывала на усталость после работы и на вечную его манеру держать лицо непроницаемым. У него на скулах выступили красные пятна, едва заметные, неровные, как от пощёчины. И слово «непрофессионально» он произнёс голосом человека, которого волнует что угодно, только не мой рабочий график.

— Знаешь, что смешно, — говорю я, и сарказм выходит легче, чем мне самой хотелось бы. — Когда Тапер звал меня на свидание, ты вообще слова не сказал. А тут Чарльз, который даже голос на меня ни разу не повысил, вдруг стал угрозой нацбезопасности.

— Тапер был другим.

— Тапер мне изменил, Демиан. С моей лучшей подругой. Куда уж хуже.

Он открывает рот, явно собираясь сказать что-то ещё, и я вижу, как слова выстраиваются у него внутри в очередь: про безопасность, про репутацию компании, про то, что мне стоит быть осторожнее с коллегами. Каждое из этих возражений звучит так, будто он убеждает не меня, а себя, перебирает аргументы, как спасательный трос, за который можно удержаться руками, лишь бы не произнести то, что действительно крутится у него в голове и давит на зубы изнутри.

— Карделия, я просто хочу, чтобы ты не торопилась, — говорит он наконец, тихо, и в этом «просто» столько напряжения, что слово почти звенит, как перетянутая струна.

— Я не тороплюсь. Я иду на ужин. Это не помолвка.

— Я и не говорю, что помолвка.

— А звучит именно так.

Он молчит, и в этом молчании куда больше содержания, чем во всех его аргументах про профессионализм и риски, вместе взятых. Я смотрю, как он сжимает челюсть, как под кожей ходят желваки, будто он физически удерживает внутри что-то, что рвётся наружу и уже нашло щель. Впервые за весь разговор мне становится не весело от собственной дерзости, а не по себе. То, что я вижу в его лице, совсем не похоже на лицо брата, которому не нравится выбор сестры.

— Забей, — говорю я, слишком быстро, чтобы это прозвучало спокойно. — Я иду. В пятницу. Точка.

Я не жду, пока он договорит, хотя вижу, что он вот-вот снова откроет рот и наберёт воздуха. Разворачиваюсь, иду к лестнице и оставляю его одного на кухне с остывающим чаем, двумя чашками и выражением лица, которое я не собираюсь разгадывать сегодня.

У себя в комнате я сажусь на край кровати, не включая свет, и смотрю в темноту за окном, где снег под фонарём кажется жёлтым и грязноватым. Пытаюсь выстроить в голове привычное объяснение: опекунская тревога, старший брат, боится, что меня обидят, нормально, бывает, так у всех. Но слова не складываются, как раньше, расползаются и не держат форму. Я прокручиваю в памяти его голос на этом «с Чарльзом?» и понимаю, что в нём не было ни капли того тона, каким спрашивают о безопасности младшей сестры. Там была ревность. Чистая, неприкрытая, совсем не братская ревность. Я впервые называю это слово про себя, и от того, насколько естественно оно ложится, мне делается страшнее, чем от любой нашей стычки за три месяца под этой крышей.

* * *

Дверь комнаты я прикрываю плотнее, чем нужно, придерживая ручку, чтобы не щёлкнул замок, будто звук может просочиться вниз, на кухню, где Демиан, наверное, всё ещё стоит с чашкой остывшего чая и лицом, которое я упорно отказываюсь расшифровывать. Телефон нахожу в кармане куртки, набираю Мию и, пока тянутся гудки, сажусь по-турецки на кровать, подтягиваю колени к груди, как будто это поможет собрать себя обратно в кучку.

— Але, это я, — говорит Мия вместо приветствия, и на фоне бубнит её вечный телевизор. — Ты живая? У тебя голос такой, будто ты только что сбежала из тюрьмы.

— Хуже. Я только что сообщила брату, что иду на свидание с Чарльзом.

— О, — тянет она с откровенным удовольствием, и я почти слышу, как она подбирает под себя ноги. — Рассказывай. Во всех подробностях, я уже сижу удобно.

Я пересказываю, старательно держа голос лёгким, почти издевательским: как разливаю чай, как бросаю новость между делом, как Демиан замирает с чашкой на полпути ко рту. В пересказе выходит почти смешно, если не вслушиваться в собственные интонации слишком пристально. Я даже позволяю себе передразнить его: «С Чарльзом?» — произношу я нарочито низким голосом и сама фыркаю, потому что в моём исполнении это звучит как реплика из дешёвого триллера.

— Погоди. — Я слышу щелчок пульта, телевизор замолкает, и это означает, что разговор официально перешёл в серьёзную категорию. — А он что, прямо так и сказал, «с Чарльзом»? Таким голосом?

— Таким, будто я сказала, что иду на свидание с серийным убийцей.

— Карделия. — Пауза, в которой я почти вижу, как она прищуривается, хотя между нами двадцать километров и телефонная сеть. — Это звучит не как «старший брат беспокоится за младшую сестру». Это звучит как ревность.

Я смеюсь громко, слишком громко для шутки, которая на самом деле ни капли не смешная, и смех отскакивает от стен пустой комнаты и возвращается ко мне чужим.

— Да ладно тебе, он мне просто брат. Брат, который просто помешан на контроле, у него пунктик на безопасности с тех пор, как родители погибли, ты же знаешь эту песню наизусть. Он бы и правила к стенке приколотил, если бы я позволила.

— Угу. А к стенке он твоего Чарльза тоже приколотит? Или сначала проверит паспорт и спросит про доходы?

— Прекрати, — говорю я, и смех выходит ещё громче, с нервным надрывом на конце, который, я надеюсь, не пролез через динамик. — Серьёзно, Мия, это не то. Он просто... он всегда такой был. Параноик с дипломом архитектора.

— Ну да, ну да. Параноик, который за три месяца ни разу не спросил, с кем ты спишь, но тут вдруг решил устроить допрос из-за ужина в пятницу.

Я молчу на секунду дольше, чем планировала, и в эту паузу без приглашения вплывает картинка: Демиан на кухне ночью, несколько недель назад, когда мы оба спустились за водой почти одновременно и застыли друг напротив друга в темноте у открытого холодильника. Свет лился на его лицо снизу, странно, как от софита, который кто-то специально поставил, чтобы

я наконец заметила, как он на меня смотрит. Тогда я списала всё на усталость и неудачное освещение. А ещё раньше был вечер со старыми альбомами, когда он держал фотографию, где нам пятнадцать и десять, и смотрел на меня дольше, чем смотрят на детский снимок, смотрел так, будто пытался понять что-то про меня сегодняшнюю, а не про девчонку в выцветшей кофте.

— Карделия? Ты там заснула?

— Нет, — говорю я быстрее, чем нужно. — Просто задумалась. Слушай, это глупости, он просто брат, который слишком долго был мне вместо родителей, вот и всё. У него профдеформация.

— Ладно, ладно, не кипятись, — миролюбиво говорит Мия, явно почувствовав по моему голосу, что я на волосок от срыва. — Я просто дразнюсь. Расскажи лучше, что наденешь в пятницу.

Я хватаюсь за эту тему с облегчением, почти с благодарностью, как хватаются за спасательный круг посреди разговора, который зашёл слишком глубоко и не в ту воду. Мы ещё минут десять всерьёз обсуждаем, подойдёт ли то зелёное платье или лучше что-то менее вызывающее для первого свидания с коллегой, Мия требует фотографии обоих вариантов, и её голос постепенно смывает из головы тяжесть последнего часа.

Когда я кладу трубку, в комнате снова тихо, так тихо, что слышно, как внизу щёлкает выключенный свет. За окном снег под фонарём всё такой же жёлтый и неживой. Объяснение «он просто опекун» лежит где-то рядом, привычное и удобное, как старый свитер, но налезать на меня больше не хочет: рукава коротки, ворот жмёт, швы расходятся на плечах. Я отгоняю эту мысль усилием воли, встаю, открываю шкаф и перебираю вешалки в поисках того самого зелёного платья, повторяя себе, что завтра разберусь, что к чему. А сегодня нужно всего лишь выбрать, в чём идти на ужин с человеком, который хотя бы не притворяется, будто не хочет быть рядом со мной.

* * *

Зелёное платье всё-таки побеждает, но в последний момент я натягиваю сверху короткую дублёнку, потому что за окном минус три и никакая женственность не стоит ангины. В прихожей задерживаюсь у зеркала дольше обычного, подкручиваю пальцем прядь, которая всё равно растреплется через час, поправляю воротник, который и так лежит правильно. Своему отражению я говорю, что это просто ужин. Просто Чарльз. Просто способ доказать себе, что моя жизнь не состоит из расписаний, составленных чужой рукой на дверце холодильника.

Демиан сидит в кресле у торшера, ноутбук открыт у него на коленях, и когда я спускаюсь по лестнице, он не поднимает головы. Экран подсвечивает его лицо снизу холодным синеватым светом, и на секунду мне кажется, что я снова вижу ту картину у холодильника, только теперь без тепла и без ночной тишины. Просто пятничный вечер. Просто брат, слишком сосредоточенный на работе, чтобы заметить, как я одета.

Заметил, конечно. Я вижу это по тому, как долго его взгляд держится на одной точке экрана уже после того, как мои каблуки простучали по паркету, и как он за всё это время ни разу не прокрутил страницу.

— Я ушла, — говорю я таким тоном, будто объявляю расписание пригородного автобуса.

— Хорошо проведи время, — отвечает он, не отрываясь от ноутбука, и голос у него ровный, как линейка, вычерченный по краю. Слишком ровный для человека, которому действительно всё равно.

Я замираю посреди гостиной с сумкой в руке, потому что в этой ровности есть что-то кричащее. Под поверхностью натянуто напряжение, такое тугое, что я почти слышу, как оно гудит в воздухе между нами, как провод на морозе.

— Спасибо, — говорю я. — Постараюсь.

— Не сомневаюсь.

Два слова, брошенные вскользь, не отрываясь от экрана, но в них столько сарказма, что я чуть не оборачиваюсь спросить, что именно он имеет в виду. Вместо этого спрашиваю другое, потому что задать прямой вопрос значит признать: меня это задевает сильнее, чем должно задевать сестру.

— Ты серьёзно собираешься весь вечер делать вид, что работаешь?

Теперь он поднимает глаза. Голубые, светлые, слишком светлые для того, чтобы за ними можно было хоть что-нибудь спрятать, и всё равно прячущие.

— А что мне, по-твоему, делать? Провожать тебя до машины с фонариком и списком вопросов?

— Было бы в твоём стиле.

— Карделия.

— Что?

Он молчит секунду, и в этой паузе я вижу, как у него на скуле дёргается мышца. Едва заметно, один раз. Но я знаю это лицо двадцать с лишним лет, знаю его по каждому родительскому собранию и каждой больничной очереди, и я точно знаю, когда он сдерживается.

— Ничего, — говорит он наконец и закрывает ноутбук на ладонь, не до конца. — Иди. Не хочу, чтобы ты опоздала из-за меня.

Из-за меня. Будто неловкость в этой комнате создаю я, а не он. Я хочу сказать что-нибудь ещё, какую-нибудь колкость про его занудство, но слова застревают где-то на полпути, потому что сейчас в его взгляде нет ничего братского, ничего даже отдалённо похожего на беспокойство о младшей сестре, которая идёт ужинать с коллегой. Есть что-то голодное и запертое, и я не готова смотреть на это дольше секунды.

Я разворачиваюсь и иду к двери, застёгивая дублёнку на ходу, и уже у порога, натягивая сапог и придерживаясь за стену, краем глаза ловлю его отражение в зеркале прихожей. Старое зеркало, в потемневшей латунной раме, висит здесь, кажется, с момента постройки дома. Демиан не вернулся к ноутбуку. Он сидит неподвижно, спина прямая, руки на подлокотниках, и пальцы стиснуты так, что костяшки побелели, будто кресло вот-вот оторвётся от пола и только его хватка удерживает всю конструкцию на месте.

Так не держатся за подлокотники, когда просто расстроены из-за того, что сестра идёт на свидание с коллегой по работе. Так держатся, когда внутри что-то рвётся наружу, рвётся всерьёз, и единственный доступный способ это остановить — вцепиться руками во что-то твёрдое и ждать, пока отпустит.

Я не оборачиваюсь. Выхожу, захлопываю дверь чуть сильнее, чем нужно, и холодный воздух обжигает щёки и приводит в чувство, как пощёчина. В машине я секунду сижу, не поворачивая ключ, и смотрю через лобовое стекло на освещённое окно гостиной: тёплый жёлтый прямоугольник в темноте, а в нём силуэт человека, неподвижный, как статуя. Он либо потерял интерес к тому, что на экране, либо никогда его и не имел.

Я завожу мотор. Он урчит, прогреваясь, воздух из дефлекторов идёт пока холодный, и я говорю себе, что еду на свидание, которое должно получиться лёгким и приятным. Первый шаг после Тапера, доказательство, что я умею двигаться дальше, как все нормальные люди. Но пока машина выруливает с подъездной дорожки и фары выхватывают из темноты мокрый асфальт, я ловлю себя на мысли, от которой холодеет быстрее, чем от мороза: что бы ни ждало меня сегодня вечером с Чарльзом, я жду этого не для того, чтобы забыть о Тапере.

Я жду этого, чтобы посмотреть, что будет, когда я вернусь.

Глава 4

Весна забралась даже в переговорную на двадцать третьем этаже «Аванпоста» — через жалюзи пробивается свет, слишком яркий для девяти утра, и ложится полосами на смету, разложенную передо мной веером из сорока двух страниц. Год назад я бы не заметил этой разницы между зимним и весенним светом. Теперь я замечаю всё, что меняется вокруг, и ненавижу себя за внимательность, которая почему-то острее всего работает там, где касается Карделии.

Перемирие, которое мы с ней заключили той зимой — без слов, без рукопожатий, просто усталостью обоих держать оборону, — за несколько месяцев устоялось в привычку. Она больше не хлопает дверью каждый вечер. Я больше не составляю списков с временем возвращения. Но спокойствие это обманчиво, как штиль над разломом: я стал следить за ней не меньше, а внимательнее, только теперь незаметно, вскользь, будто случайно.

— Фундаментная плита по новой смете выходит на двенадцать процентов дороже, — говорю я своему заместителю, Рикардо, не поднимая взгляда от документа. — Пересчитайте с альтернативным поставщиком арматуры.

Рикардо кивает, делает пометку, и в этот момент телефон на столе у меня под локтем вспыхивает уведомлением. Я не хотел смотреть. Клянусь себе, что не собирался. Но боковое зрение цепляет имя турфирмы Карделии в шапке поста, и рука у меня тянется к экрану раньше, чем успевает возразить голова.

Фотография: она на вершине, в красной куртке, волосы выбились из-под шапки и облепили лицо ветром, а улыбка такая, что от неё почти больно смотреть, потому что это не улыбка для камеры. Это улыбка человека, который на секунду забыл, что его фотографируют, и просто счастлив тем, что стоит выше облаков. Подпись турфирмы: «Наш лучший инструктор снова покорила скалы Сан-Бернардино!»

Покорила. Я смотрю на край скалы за её спиной, на обрыв, уходящий куда-то в серую дымку, и чувствую, как внутри что-то сжимается туже, чем нужно для простого беспокойства старшего брата.

— Демиан.

Голос Рикардо возвращает меня в комнату. Смета. Двенадцать процентов. Я киваю, будто слушал всё это время, и откладываю телефон экраном вниз, но пальцы ещё секунду задерживаются на корпусе, будто не хотят отпускать.

Дверь переговорной открывается без стука — так входит только Джессика, моя ассистентка, которая работает со мной достаточно давно, чтобы считать стук формальностью для посторонних.

— Документы по подряднику на подпись, — говорит она, кладёт папку поверх сметы и выравнивает уголок с той аккуратностью, с которой она делает вообще всё. — И ещё. В четверг благотворительный ужин фонда архитектурного наследия. Организаторы спрашивают, нужен ли вам плюс один для рассадки.

— Нет, — отвечаю я быстрее, чем следовало бы для человека, которого об этом вообще-то не спрашивали ничего личного.

Джессика на секунду замирает, вскидывает бровь — почти незаметно, это тот редкий случай, когда её профессиональная сдержанность даёт трещину.

— Хорошо, — говорит она после паузы ровным голосом и выходит, оставив меня с папкой, сметой и ощущением, что я только что отреагировал на вопрос не как человек, у которого просто нет пары, а как человек, который уже занят мыслями о ком-то конкретном.

Я снова беру телефон. Говорю себе, что хочу проверить почту. Вместо этого палец сам находит фотографию и увеличивает её, будто в пикселях можно разглядеть что-то, чего не видно в целом кадре. Её лицо, обветренное и живое. Трещина в скале у неё за плечом, доста-

точно широкая, чтобы нога соскользнула, если хоть на секунду потерять концентрацию. Страховка выглядит надёжной, обвязка затянута правильно — я умею это оценить, я сам ходил с ней в детстве на простые маршруты, пока она не превратила это в профессию и не ушла туда, куда я больше не мог за ней последовать.

Я смотрю на фотографию дольше, чем требуется, чтобы оценить безопасность страховки. Гораздо дольше. Смотрю так, как смотрят не на сестру, а на женщину, чьё лицо хочется запомнить в деталях — изгиб брови, прядь волос, прилипшую к щеке, — и в тот момент, когда я ловлю себя на этой мысли, мне становится физически мерзко от самого себя, будто я подглядел что-то, что видеть не имел права.

Я кладу телефон экраном вниз резче, чем собирался, и звук удара о столешницу заставляет Рикардо вздрогнуть на другом конце стола.

— Простите, — говорю я и сам слышу, как неубедительно это звучит.

Я обещал родителям беречь её. Эта формула сидела во мне семь лет, как кость в основании, на которой держится весь остальной скелет, — беречь, значит, следить, значит, знать, где она, с кем, в безопасности ли. Простая, честная клятва мальчишки, вчера похоронившего отца и мать и взявшего на себя чужую жизнь, потому что больше её некому было взять.

Но сегодня, второй раз подряд разглядывая чужую фотографию дольше, чем позволяет здравый смысл, я впервые ловлю себя на мысли, что формула треснула. Беречь — не то слово, которым я на самом деле пользуюсь, когда проверяю её расписание, когда звоню на работу под предлогом безопасности маршрута, когда отказываю себе в простом «да» на вопрос про плюс один для благотворительного ужина. Это слово годится для отчёта перед собой, перед памятью родителей, перед зеркалом по утрам. Оно больше не годится для того, что я чувствую, когда вижу её улыбку на вершине горы, адресованную не мне.

Рикардо кашляет, напоминая, что совещание ещё не закончилось, и я заставляю себя открыть ноутбук, вернуться к смете, к проценту переплаты за арматуру, к вещам, которые имеют право занимать моё внимание в девять утра в будний день. Но где-то на периферии, под ровным голосом, которым я диктую пометки для подрядчика, продолжает гореть маленькая красная точка — фотография, которую я не удалил и не собираюсь.

* * *

Бар на углу от офиса — выбор Алекса, не мой. Я предпочёл бы столик у себя в кабинете, где можно одновременно отвечать на письма, но Алекс заявил, что не собирается смотреть, как я ем сэндвич, уставившись в телефон, и утащил меня сюда, в полумрак с запахом хмеля и жареного лука, усадив спиной к стойке.

— Значит так, — говорит он, разворачивая меню с видом человека, для которого это главное событие дня, — последний раз напомни, когда у тебя было свидание. Я серьёзно хочу знать. Для истории.

— У меня нет времени на твою историю, — отвечаю я и смотрю в свой телефон, где строчка с непрочитанным письмом от подрядчика выглядит гораздо безопаснее, чем лицо Алекса напротив.

— Нет времени, — повторяет он со вкусом, будто пробует фразу на язык. — Деми, тебе двадцать девять. Ты владеешь компанией, у тебя дом с видом на полгорода и машина, за которую я бы продал почку, чтобы купить. И при этом ты говоришь мне «нет времени» на свидание так, будто речь о подаче налоговой декларации.

— Потому что примерно так это и ощущается.

Алекс фыркает и делает знак официантке.

— Вот именно это меня и пугает. Ты помнишь хотя бы, как зовут последнюю женщину, с которой ты ужинал не ради контракта?

Я действительно пытаюсь вспомнить и понимаю, что пауза получается слишком долгой для шутки.

— Загружен работой, — говорю я, и фраза звучит так же фальшиво, как звучала утром перед Рикардо. — Проект центра на Седьмой требует моего присутствия на каждом этапе.

— Ага. Загружен работой. — Алекс откидывается на спинку стула, скрестив руки, и смотрит на меня с тем выражением, которое у него появляется, когда он уже знает ответ и просто хочет увидеть, выдержу ли я собственную ложь до конца. — А я почему-то помню, как ты дважды отменил ужин с инвесторами из Сан-Диего. Один раз — потому что тебе «нужно было проверить маршрут». Второй раз — потому что у Карделии «изменился график восхождения», и ты решил, что должен быть рядом на случай, если сорвётся связь.

— Это не имеет отношения к свиданиям.

— Я знаю. — Он улыбается слишком добродушно для человека, который только что воткнул нож ровно туда, куда метил. — Просто интересно, Деми, у скольких братьев хватает времени на инвесторские ужины для компании, которая кормит их штат, но не хватает на обычное свидание. Вот у тебя, похоже, ровно наоборот.

Официантка ставит передо мной пиво, и я цепляюсь за бокал как за повод помолчать, делаю глоток дольше, чем нужно.

— Кстати, — говорит Алекс, не глядя на меня, листая что-то в телефоне с нарочитой небрежностью, которая у него всегда предшествует самому болезненному удару, — Чарльз опять звал Карделию куда-то. Мия говорила. Кажется, в этот раз даже не на ужин, а в какой-то поход выходного дня, вдвоём.

Бокал замирает на полпути ко рту. Я не замечаю этого сам, замечаю только то, что Алекс перестал листать телефон и смотрит прямо на меня, и в его кареглазом взгляде появляется та же острота, с которой он читает контракты на предмет мелкого шрифта.

— Чарльз её коллега, — говорю я, ставя бокал обратно на стол с усилием, которое мне самому кажется чрезмерным. — Естественно, что у них общие планы на маршруты.

— Общие планы вдвоём, без группы, в субботу, — уточняет Алекс медленно, будто проверяет каждое слово на вес. — Деми. У тебя челюсть сейчас дёргается так, что я могу засечь пульс по лицу.

— Ничего у меня не дёргается.

— Дёргается. — Он наклоняется вперёд, упирается локтями в стол, и голос у него становится тише, но от этого не менее настойчивым. — Слушай, я понимаю, ты опекун, ты за неё отвечаешь, это всё благородно и прочее. Но тебе не кажется, что ты реагируешь слишком остро? Для старшего брата, я имею в виду. Обычно старшие братья закатывают глаза, когда слышат про чужие ухаживания за сестрой, а не каменеют так, будто им сообщили об угоне машины.

Я смотрю на него, и на секунду мне кажется, что он видит сквозь меня насквозь, видит ту самую трещину, которую я сегодня утром уже обнаружил в собственной формуле «беречь», и от этого по спине проходит неприятный холод, будто кто-то открыл дверь в морозную ночь.

— Мне просто не нравится Чарльз, — говорю я ровно, стараясь, чтобы голос звучал так же скучно, как обсуждение сметы. — Он слишком мягкий для гор. Это вопрос безопасности, а не ревности.

— Безопасности, — повторяет Алекс с интонацией, в которой слышится отчётливое «ну да, конечно», но вслух он этого не произносит, только качает головой и снова берётся за меню.

Я достаю бумажник быстрее, чем нужно, кладу на стол купюры, не дожидаясь счёта.

— Мне нужно вернуться в офис, — говорю я, вставая, хотя никаких срочных дел у меня на самом деле нет, есть только острое желание оказаться где угодно, лишь бы не под этим взглядом.

— Ты даже сэндвич не доел, — говорит Алекс, но уже без улыбки, провожая меня глазами, в которых подозрение теперь сидит прочно, как заноза, которую он решил пока не вытаскивать вслух.

Я бросаю что-то про совещание, которого нет, и ухожу к выходу, чувствуя спиной этот взгляд до самой двери.

* * *

Тендер на Седьмой квартал занимает половину совещания, и я уже час держу лицо, которое должно выглядеть заинтересованным, пока Рикардо раскладывает перед партнёрами таблицы по себестоимости фасадных панелей. Я киваю в нужных местах. Задаю вопрос про сроки поставки, который сам же забываю через секунду после ответа.

Телефон на столе вибрирует бесшумно, экраном вниз, и я бы не взглянул на него вовсе, если бы не привычка проверять каждый звонок, когда Карделия в горах. Номер незнакомый, с кодом Сан-Бернардино. Я переворачиваю телефон только потому, что это единственная причина, ради которой я вообще способен прервать Рикардо на середине фразы про облицовку.

— Прошу прощения, — говорю я и выхожу в коридор, уже понимая по тому, как сжимается что-то под рёбрами, что звонок будет не про панели.

— Демиан? — Голос в трубке дрожит так, что я не сразу узнаю его, хотя слышал десятки раз за обеденным столом. — Это Чарльз. Простите, что на рабочий, у меня только этот номер был, с сайта компании.

— Что случилось. — Я не спрашиваю, я констатирую, потому что уже знаю ответ по одной только интонации.

— На спуске с Систерс-Пик камнепад. Небольшой, никого не задело насмерть, но один из туристов, Дэвид, сломал ногу, кажется, открытый перелом, я не врач, не уверен точно. — Он глотает воздух между словами, как будто бежал. — Карделия осталась с ним внизу тропы, отправила остальных со мной вперёд, велела звонить в компанию, если сигнала не будет. Спутниковый телефон не отвечает уже два часа.

Два часа. Я смотрю на окно в конце коридора, на серую полосу неба над крышами соседних офисов, и на секунду не могу разобрать ни одного слова из тех, что произносит Чарльз дальше, потому что в ушах становится очень тихо, будто кто-то выключил звук во всём здании. Горло перехватывает так, что первая попытка ответить выходит немой, только хрип.

— Демиан? Вы меня слышите?

— Слышу. — Голос получается ровнее, чем я ожидал, и это единственное, чем я могу сейчас гордиться. — Где именно вы находитесь.

— Южный склон, примерно в двух километрах от стоянки, тропа номер три. Я уже звонил в вашу компанию, трубку взяла девушка, сказала, что свяжется с горноспасательной службой, но…

— Держи линию открытой, — перебиваю я, и это «ты» выскакивает само, без разрешения, потому что сейчас не время для вежливого «вы» с человеком, который хотел увести мою сестру на свидание. — Диктую номер, запиши сразу: у нас прямой контакт со службой в Сан-Бернардино, они быстрее доедут, чем любая общая линия спасения. Я продиктую два раза.

Я называю цифры медленно, слышу, как Чарльз повторяет их за мной шёпотом, как будто боится ошибиться хоть в одной. Голос у него срывается на последней цифре, и в этом срыве столько неподдельного страха, что на секунду я почти прощаю ему субботний поход, о котором мне рассказал Алекс за обедом.

— Перезвони мне, как только дозвонишься до них, — говорю я. — На этот номер, в любое время.

— Хорошо. Демиан, я… — Он замолкает, будто хочет сказать что-то ещё, но не находит слов, которые были бы уместны прямо сейчас. — Простите, что сразу не позвонил.

Я не отвечаю на это, потому что отвечать нечего, и просто сбрасываю звонок.

В переговорной Рикардо всё ещё что-то говорит про сроки отгрузки, партнёры из Сан-Диего кивают синхронно, как будто их настроили на одну частоту, и когда я возвращаюсь в дверной проём, все взгляды на секунду обращаются ко мне.

— Прошу прощения, — говорю я, и голос звучит так ровно, что мне самому становится не по себе от собственного спокойствия, — у меня семейное обстоятельство, требующее немедленного внимания. Рикардо завершит презентацию, документы у него.

Никто не задаёт вопросов вслух, хотя по лицам читается недоумение: Демиан Делломар не покидает тендеры на миллион посреди речи о панелях. Обычный брат остался бы сидеть здесь, нажал бы кнопку беззвучного режима, дождался бы перерыва и перезвонил бы Чарльзу уже из машины, не срывая переговоры, за которые отвечает репутация «Аванпоста». Я знаю это так же ясно, как собственное имя, и ухожу всё равно, не оборачиваясь, застёгивая пиджак на ходу уже в коридоре.

В лифте я набираю номер диспетчера горноспасательной службы, которую компания финансирует уже третий год, и, пока гудки тянутся один за другим, смотрю на своё отражение в зеркальной панели — лицо спокойное, почти скучающее, как на совещании десять минут назад, и только пальцы, сжимающие телефон, побелели на костяшках.

За рулём я выжимаю газ на серпантине так, что шины визжат на повороте перед выездом на шоссе, и ловлю себя на мысли, которая колет изнутри острее, чем страх за сорванный тендер, острее, чем злость на Чарльза: я боюсь не того, что компания потеряет контракт из-за сегодняшнего ухода. Я боюсь, что не успею.

* * *

Серпантин заканчивается грунтовкой, и машина дребезжит на каждой кочке, но я не сбрасываю скорость даже там, где знак требует двадцати километров в час. Площадка у тропы на Систерс-Пик забита машинами: белый фургон горноспасательной службы, две патрульные, скорая с распахнутыми дверями. Я глушу двигатель, не дождавшись, пока он толком остановится, и бегу — не иду, бегу, как не бегал, кажется, с университета.

И вижу её раньше, чем успеваю подумать, что буду делать, когда увижу.

Карделия стоит возле носилок, в грязи по колено, куртка порвана на плече, на скуле ссадина, уже подсохшая коркой, волосы выбились из-под шапки колтуном, но она стоит на своих ногах, и голос её разносится над поляной достаточно громко, чтобы услышали в соседнем округе:

— Аккуратнее с левой стороны, у него перелом, а не царапина, вы его по кочкам везёте или на вертолёт грузите?

Фельдшеры слушаются её, как будто она здесь главная, хотя форма на ней не медицинская, а потрёпанная туристическая, и в этот момент что-то во мне обрывается внутрь, тянет вниз так резко, что я хватаюсь за капот машины, потому что колени у меня в буквальном смысле слова перестают держать вес.

Такого не было даже в тот день, когда позвонили из полиции про аварию. Тогда было оцепенение, холод, работа на автомате: звонки похоронному бюро, разговор с адвокатом, подпись за подписью. Сейчас — наоборот, всё внутри разом оживает, обрушивается лавиной, и я стою посреди грунтовки, вцепившись в металл, и дышу так, будто сам только что спустился с перевала.

Она замечает меня через секунду, и лицо её меняется быстрее, чем я успеваю подойти: сначала удивление, потом что-то похожее на досаду, которая почти сразу превращается в откровенное раздражение.

— Серьёзно, Демиан? — Она вытирает руки о бёдра джинсов, оставляя на ткани ещё больше грязи, и идёт мне навстречу так, будто собирается не обняться, а прочитать нотацию. — Я тут справляюсь без твоей спасательной операции уже третий час. У нас всё под контролем, спасатели приехали, парня увозят, камни больше не падают. Тебе кто вообще позвонил?

— Чарльз, — говорю я, и голос у меня звучит ровнее, чем мне бы хотелось, потому что внутри всё ещё трясёт. — Сказал, связи с тобой не было два часа.

— Спутниковый сел, у нас такое бывает, это не повод поднимать на уши весь «Аванпост».

Она стоит в полуметре от меня, и я вижу вблизи, что ссадина на скуле глубже, чем казалось издалека, что прядь рыжих волос прилипла к виску то ли от пота, то ли от талого снега, и рука моя тянется убрать эту прядь раньше, чем я успеваю себе это запретить. Пальцы почти касаются её кожи, тёплой несмотря на холод вокруг, и я вижу, как она на секунду замирает, как у неё меняется взгляд — чуть удивлённый, чуть что-то ещё, чего я не хочу называть.

Я одёргиваю руку на полпути и прячу жест за вопросом, который звучит суше, чем мне бы хотелось:

— Рапорт о происшествии составлен? Страховая потребует точное время и описание камнепада.

— Составлю, когда довезу группу до базы, — отвечает она, щурясь, будто пытается понять, что только что произошло между нами, и я сам не знаю, что ей ответить, если она спросит вслух.

В этот момент рядом нарисовывается Чарльз — осторожно, бочком, как человек, который не уверен, стоит ли ему вообще здесь находиться. Волосы выбились из хвоста, лицо серое, глаза бегают между мной и Карделией, и, глядя на него, я чувствую вспышку чего-то настолько мужского и собственнического, что мне самому становится не по себе: не братская тревога за безопасность сестры, а голое, почти животное раздражение на то, что этот человек был рядом с ней три часа, пока я сидел на совещании и смотрел на фотографию в телефоне.

— Демиан, я… — начинает Чарльз, но я не даю ему договорить, обрываю взглядом, и он замолкает, отступая на шаг.

Карделия смотрит то на меня, то на него, и что-то в её лице подсказывает, что она тоже это заметила, хотя пока не понимает, что именно.

И вот тогда рушится последняя опора, на которой я держался все эти месяцы, все эти годы: клятва, данная родителям, забота опекуна, старший брат, который примчался на выручку младшей сестре. Это не было заботой. Это была паника человека, который едва не потерял женщину, без которой не может дышать, и стоя посреди грязной горной дороги, глядя на ссадину на её скуле, я впервые позволяю себе признать это целиком, без права на отступление.

* * *

Дорога на серпантине сворачивает в темноту, фары выхватывают только мокрый асфальт и выбеленные столбики ограждения, а Карделия уже минут десять как не пытается острить мне в ответ. Она сидит, привалившись виском к стеклу, и дышит медленно, ровно, как человек, у которого закончились силы на всё — на сарказм, на гордость, на привычку держать дистанцию даже со мной.

Я веду одной рукой. Другой набираю письмо Рикардо про смещение сроков по тендеру — слова складываются сами, без участия головы, потому что голова занята другим, и я ненавижу себя за это ровно настолько, насколько не могу это прекратить. Экран светится холодным светом, я смотрю в него подолгу, лишь бы не смотреть в сторону пассажирского кресла дольше секунды. Получается плохо. Получается через раз.

Взгляд соскальзывает сам, без спроса. Пряди выбились из косы и падают на лицо жёсткими спиральками — высохли на холоде, скрутились, не разгладились даже в тепле машины. Царапина на скуле потемнела, стянулась коркой по краю, и мне физически, до зуда в пальцах хочется остановить машину на обочине серпантина, наклониться и провести по этому месту губами — не поцелуем, просто прикосновением, просто чтобы убедиться, что кожа тёплая, что она здесь, что с ней правда всё в порядке.

Я сжимаю телефон крепче и дописываю фразу про бюджет, которая не имеет ко мне сейчас никакого отношения.

На похоронах я стоял рядом с гробами родителей и повторял про себя слова, которые дал им ещё раньше, в день, когда они привезли домой рыжий свёрток и сказали, что теперь у меня есть сестра. Беречь её. Защищать её. Быть ей братом, даже когда станет тяжело. Я повторял

это тогда как молитву, единственную, которую знал, и она держала меня на ногах, пока земля падала в яму.

Сейчас я повторяю её снова, мысленно, слово в слово — и впервые слышу, насколько фальшиво звучит «сестра» применительно к тому, что творится у меня внутри последние три часа. Сестре не хочется останавливать машину ради царапины на скуле. Сестре не желаешь ничего, что заставляет руки потеть на руле.

Я опускаю взгляд обратно на телефон, но буквы расплываются, и я не могу понять, дописал фразу или нет.

На перекрёстке загорается красный, я торможу плавно, чтобы не разбудить её, и в тот момент, когда машина замирает, Карделия вздрагивает во сне — коротко, будто ей снится падение, — и её рука соскальзывает с колен ко мне на предплечье. Ладонь тёплая даже сквозь рукав куртки, пальцы слабо сжимаются, будто она ищет опору, не просыпаясь.

Я не убираю руку с руля. Сижу неподвижно, глядя на красный свет, который держится дольше, чем должен бы, и боюсь шевельнуться так, как не боялся даже на горном серпантине час назад, выжимая газ. Боюсь, что она проснётся и одёрнет ладонь, а ещё больше боюсь, что не проснётся, и это тепло так и останется на коже под курткой до самого дома.

Загорается зелёный. Я трогаюсь с места осторожно, почти без толчка, лишь бы не стряхнуть её руку раньше времени, и смотрю теперь не в телефон, а на дорогу, которая вьётся вниз, в сторону города, в сторону огней, которые скоро проглотят эту темноту и эту тишину вместе со всем, что в ней произошло.

Она не ребёнок, говорю я себе — коротко, без права на оговорки. Не ребёнок, которого я вёз домой с катка пятнадцать лет назад, не девчонка, которой я подписывал справки в школу. И давно уже не та сестра, которую я обещал защищать на кладбище в костюме, слишком взрослом для моих тогдашних плеч.

Мысль обжигает так, что я сжимаю руль обеими руками, забыв про руку Карделии, и она соскальзывает с моего предплечья обратно ей на колени — а я гоню признание прочь, вбивая его обратно туда, откуда оно выползло, потому что дальше этой фразы думать нельзя. Дальше — обрыв, и я не знаю, что внизу.

* * *

Дом встречает тёмными окнами. Я глушу двигатель, и тишина падает так резко, что Карделия вздрагивает ещё раз, уже не во сне.

— Приехали, — говорю я, и голос выходит жёстче, чем нужно для одного короткого слова. Броня, которую я успел собрать за те секунды, пока машина катилась последний квартал.

Она щурится, моргает в темноту салона, не сразу понимая, где находится, и этот миг беззащитности перед тем, как к ней возвращается привычная резкость, — ещё один гвоздь в то, что я пытаюсь заколотить обратно в землю.

— М-м. Спасибо, что не разбил машину о столб, пока я дрыхла, — бормочет она, вылезая наружу, и шатается на затёкших ногах.

Я обхожу капот быстрее, чем успеваю подумать зачем, и она, не глядя, опирается на моё плечо — на секунду, не больше, чтобы выпрямиться, тёплая и тяжёлая со сна, пахнущая смолой и дымом костра, который жгли, пока ждали вертолёт. Для неё это ничего не значит. Обычная опора, как перила на лестнице. Для меня — весь воздух из лёгких куда-то девается, и я стою неподвижно, пока она не отпускает плечо и не идёт к крыльцу, засунув руки в карманы куртки.

На пороге она оборачивается. Свет над дверью бьёт сбоку, вытаскивает царапину на скуле, которую не хочется видеть каждый раз заново.

— Деми, — говорит она, и в голосе ни капли сарказма, которым она обычно затыкает любую неловкость между нами. — Спасибо. Серьёзно. За Чарльза, за спасателей… за то, что приехал.

Я смотрю на неё и не нахожу, что ответить. Камнепад на Систерс-Пик дался мне легче, чем эти три секунды тишины, в которых она благодарит меня по-настоящему.

— Куплю групп-трекер, — говорю я наконец, и слышу сам, как фальшиво звучит деловой тон после того, что она только что сказала. — GPS на всю команду, не только на старшего. Закажу завтра утром, чтобы больше никто не торчал два часа без связи.

Что-то в её лице меняется, будто дверь, которая начала приоткрываться, захлопывается обратно сама собой.

— Конечно, — говорит она, уже с прежней интонацией, и закатывает глаза. — Логистика превыше всего. Ты невозможен, ты в курсе?

— В курсе, — отвечаю я, и это почти правда.

Она скрывается в доме, и я слышу её шаги по лестнице — усталые, через ступеньку, затихающие где-то наверху. Дверь её комнаты закрывается мягко, без стука, и дом снова становится тихим, только теперь я один в этой тишине, и она давит иначе, чем тишина в машине час назад.

Я прохожу в гостиную и опускаюсь в кресло у окна — то же самое, в котором сидел неделю назад, читая её переписку с Чарльзом боковым зрением и убеждая себя, что раздражение, поднявшееся тогда внутри, — обычная братская тревога. Открываю ноутбук по привычке, кладу пальцы на клавиши, но экран остаётся тёмным дольше, чем нужно для загрузки, и я просто сижу, глядя в это чёрное стекло, в котором смутно отражается моё собственное лицо.

Сегодня я гнал машину по серпантину так, будто от скорости зависела моя жизнь, а не чья-то чужая. Сегодня я хотел коснуться губами царапины на её скуле прямо там, на тропе, при Чарльзе, при парамедиках, при всём белом свете. Сегодня в машине я не убрал руку с руля, боясь спугнуть прикосновение женщины, которую полтора десятка лет называл сестрой.

Экран наконец оживает, высвечивает рабочий стол, иконки папок с проектом бизнес-центра, который сегодня утром казался мне важным. Я не открываю ни одну. Сижу, упираясь взглядом в это равнодушное свечение, и впервые за весь этот долгий день перестаю врать себе, что не понимаю, что со мной происходит.

Я понимаю. Понимал, наверное, уже давно — где-то между той зимней пятницей, когда она хлопнула дверью перед свиданием с Чарльзом, и сегодняшним вечером, когда я едва не задохнулся от облегчения, увидев её живой на той тропе.

Просто сказать это вслух — хотя бы себе, хотя бы в пустой комнате — я пока не готов. Закрываю ноутбук, так и не притронувшись к работе, и долго сижу в темноте, слушая, как где-то наверху скрипят половицы под её шагами, и думаю о том, что завтра снова придётся вставать, идти вниз, наливать себе кофе и делать вид, будто ничего не изменилось.

Глава 5

Июль в Лос-Анджелесе дышит в затылок, как чужой человек, подошедший слишком близко. Кондиционер выкручен на максимум и всё равно гоняет по комнате тёплую вату, которая липнет к коже и никуда не девается. Я стою перед зеркалом в одном лифчике, машу ладонью у лица, чтобы тушь сохла быстрее, и чувствую, как по пояснице медленно сползает капля пота. Вентилятор на тумбочке мотает головой туда-сюда и просто перекладывает духоту с места на место. Толку ноль. Только пряди лезут в глаза, и я цепляю их заколкой, шипя сквозь зубы слово, за которое Демиан обязательно сделал бы мне замечание.

Провожу щёточкой по ресницам, наклоняюсь так близко, что стекло запотевает от дыхания. Скула чистая. Ни следа от той царапины, которую я привезла с Систерс-Пик месяц назад, когда камень просвистел в сантиметрах от виска, а Дэвид заорал так, что у меня потом полдня звенело в ухе. Смешно: кожа забыла тот день за три недели, а я помню его посекундно. Сухой хруст породы над головой. Вкус пыли на зубах. И лицо Демиана, когда он вылетел из машины у подножия, белое до синевы, будто обвал случился не на склоне, а где-то глубоко внутри него.

Телефон пискает в кармане джинсов, брошенных на кровать. Коротко, противно, как комар у уха в четыре утра. Этот звук я выучила наизусть: GPS-трекер, который Демиан всё-таки купил после той истории, цепляется к его приложению каждый раз, стоит мне переступить порог. Теперь он знает не только во сколько я ушла, но и где нахожусь с точностью до метра. Как посылка. Отправление в пути, доставка ожидается до полуночи, получатель нервничает.

«Забота», — говорю я себе вслух, беру телефон и швыряю его на покрывало рядом с джинсами. У нормальных братьев забота выглядит иначе. У нормальных братьев нет привычки входить в твою жизнь с линейкой в руках и каждый вечер замерять, на сколько градусов ты отклонилась от проложенного ими курса.

Экран вспыхивает снова, теперь сообщением. Имя высвечивается поверх блокировки: просто «Демиан», без эмодзи, без сердечек, без всего того, что люди обычно вешают на родных в телефонной книге. И строчка текста под ним.

«Во сколько вернёшься?»

Ни «хорошего вечера». Ни «повеселись». Ни даже дурацкой скобки, которую он изредка ставит в конце, когда настроение позволяет и ему хочется меня поддеть. Голый вопрос, сухой и деловой, будто я подрядчик, сдающий ему смену по графику, и он уже открыл табель.

Я беру телефон, большим пальцем отпираю экран и смотрю на эти четыре слова дольше, чем они того заслуживают. Внутри привычно переворачивается раздражение, знакомое до запятой. А под ним шевелится что-то ещё, чему я который месяц не даю имени. Потому что в вопросе мне слышится не опекун с его расписанием и правилами. Слышится что-то личное, от чего в груди становится так же тесно, как в этой комнате без нормального кондиционера.

«Не знаю», — набираю я и тут же жалею. Можно было промолчать. Можно было честно изобразить, что телефон утонул в сумке и всплыл только к завтраку. Но пальцы уже всё сделали за меня, а отступать теперь глупо: он видит, когда я печатаю, и наверняка смотрит на эти прыгающие точки прямо сейчас.

Дописываю: «Не жди меня». Смотрю на фразу пару секунд. Стираю по букве. Слишком похоже на объяснение, а объяснения ему не положены по условиям нашего молчаливого договора. Оставляю сухое «не знаю», жму отправку, отправляю телефон в недолгий полёт на кровать и тянусь за платьем со спинки стула. Чёрное, с вырезом на спине почти до поясницы. То самое, которое Мия называет оружием массового поражения.

В дверь не стучат. Она просто распахивается, и в комнату влетает Мия уже при полном параде: красная помада, волосы уложены в идеальные волны, каблуки такой высоты, что я

искренне не понимаю, как она дошла от машины до крыльца и не осталась лежать в кустах у дорожки.

— Ты ещё одета наполовину? — Она окидывает меня взглядом сверху вниз, выдёргивает платье у меня из рук и впихивает меня в него быстрее, чем я успеваю вдохнуть. — У нас заказан столик через двадцать минут, а я ехала через весь город не для того, чтобы смотреть, как ты красишься три часа.

— Я крашусь пятнадцать минут, не преувеличивай.

— Пятнадцать минут на один глаз. — Мия хватает с комода мою сумочку, трясёт её у уха, проверяя, на месте ли телефон, и, не дожидаясь ответа, тащит меня за руку к двери. — Алекс уже там, занял столик, и если мы опоздаем, он закажет себе текилу без нас, а я этого не переживу.

Я бросаю последний взгляд на кровать. Экран ещё не погас, на нём светится моё куцее «не знаю», похожее на плевок через плечо. Где-то внизу, или в кабинете, или уже на лестнице Демиан его прочитал и наверняка составил по этому поводу речь абзацев на пять, с подзаголовками: про ответственность, про дисциплину, про город после полуночи.

К чёрту. Сегодня вечером я не собираюсь ни отчитываться, ни думать об этом.

Мия выволакивает меня за дверь, в густой вечерний воздух, где на западе небо ещё держит остатки раскалённого персикового света, а асфальт отдаёт накопленное за день тепло прямо в подошвы. Я на ходу застёгиваю последнюю пуговицу на платье и чувствую, как ткань липнет к лопаткам. Трекер пикает в сумочке, коротко и предательски. Я нащупываю его вслепую, на ощупь, и вдавливаю кнопку, выключая звук.

Сегодня можно без слежки. Один вечер. Один-единственный.

* * *

Бар встречает нас неоновой вывеской над входом, розовым кактусом, который мигает через раз, будто у него эпилепсия, и ледяным сквозняком из кондиционера. Плечи мгновенно покрываются мурашками, жара остаётся снаружи, за стеклом, как сброшенное пальто. Алекс уже сидит за столиком у окна, в руке у него бокал с чем-то мутно-зелёным, и вид такой, будто он час держал оборону за это место и готов держать дальше.

— Вы опоздали на двенадцать минут, — говорит он вместо приветствия.

— Мы ехали на такси, которое ты заказал через какое-то приложение-призрак, — парирует Мия, падая на стул рядом с ним и утаскивая у него бокал прямо из пальцев. — Водитель звонил три раза, спрашивал, где мы, а потом ещё раз — спросить, оплатил ли ты вообще поездку.

— Я оплатил!

— Он сказал, что карта не прошла.

— Это банк, а не я!

Они схлёстываются с таким остервенением, будто от исхода спора зависит судьба западного побережья: кто виноват в несостоявшемся платеже, кто должен был проверить баланс, почему Алекс вообще выбрал это приложение, а не нормальное человеческое. Я сижу между ними с запотевшим бокалом, слушаю, как Мия перечисляет его грехи по пунктам, и вдруг обнаруживаю, что смеюсь. По-настоящему, до слёз, до того, что приходится прикрывать рот ладонью, чтобы не подавиться кубиком льда.

— Тебе смешно? — Алекс поворачивается ко мне с лицом оскорблённого достоинства. — Карделия, скажи ей, что она неправа.

— Она права, — выдавливаю я сквозь смех.

— Предательница.

Мия торжествующе откидывается на спинку стула, закидывает ногу на ногу и, не теряя ни секунды, начинает копировать его голос: чуть занудный, с фирменными паузами перед каждым важным словом. «Я оплатил. Я проверял. Карта прошла. Это банк виноват». Получа-

ется настолько похоже, что я снова складываюсь пополам над столом, а Алекс закрывает лицо руками и стонет в ладони, что больше никогда не возьмёт её ни на одно мероприятие, где фигурируют счета.

— Ты невозможна, — говорит он, но уже улыбается, и видно, что обижаться у него толком не выходит.

Я смотрю на них. Как Мия тычет его локтем под рёбра, как он притворно охает и уворачивается, как между ними ходит туда-сюда что-то лёгкое, не требующее перевода. И завидую так остро, что самой становится неловко за себя. У них нет ничего, что нужно прятать друг от друга. Ни недосказанностей, ни взглядов, которые потом полночи объясняешь себе и всё равно не можешь объяснить, ни узла под рёбрами, который нельзя развязать, потому что развязывать его запрещено по определению. Они спорят о такси. Смеются. Сидят рядом, и им за это ничего не будет.

— Кстати. — Алекс вдруг поворачивается ко мне, и тон у него меняется, становится осторожным, как шаг по тонкому льду. — Как там Демиан? Не слишком бесится из-за твоих вечерних вылазок?

Вопрос брошен почти небрежно, между глотком коктейля и очередной подколкой в адрес Мии, и всё-таки цепляет сильнее, чем должен бы. Может, дело в том, как Алекс произносит имя брата: слишком ровно, слишком заранее обдуманно для случайной фразы. А может, в том, что я сама час назад залипла на экран телефона дольше, чем это нужно нормальному человеку.

— Он всегда бесится, — отвечаю я, пожимая плечами и гоняя соломинкой лёд по дну бокала, чтобы руки были чем-то заняты. — Это его базовая настройка. Я уже даже не отличаю, беспокоится он или просто дышит.

— Угу. — Алекс кивает и возвращается к своему зелёному пойлу, но взгляд на мне держит на пару секунд дольше, чем требует лёгкий разговор. Под рёбрами у меня сжимается знакомо и неприятно, как перед проверкой страховки на маршруте.

Мия, слава всем богам, не даёт разговору свернуть дальше. Она вскакивает, хватает меня за запястье, выкрикивает что-то про песню, которую обожает с шестнадцати лет, и тащит к танцполу, расплёскивая остатки своего коктейля по дороге. Здесь музыка громче, басы вбиваются прямо в грудную клетку, минуя уши, и я позволяю себе раствориться: в мигающих огнях, в запахе чужих духов и пролитого алкоголя, в том, как Мия хватает меня за обе руки и кружит, хохоча во весь голос.

На пару минут мне действительно удаётся не думать ни о чём. Ни о доме с его жёлтыми окнами, ни о телефоне с недописанными сообщениями, ни о том, как брат произносит моё имя, когда злится, будто оно застревает у него поперёк горла и его приходится выталкивать силой.

Пара минут. И я почти верю, что фокус удался.

* * *

Музыка проваливается в паузу между треками, когда мы возвращаемся к столику, и в этой дыре тишины у барной стойки, как по заказу, обнаруживается Тапер.

Он стоит, привалившись бедром к стойке, держит бокал за самое донышко и смотрит на меня так, будто мы не виделись месяц, а не расстались навсегда полгода назад. Пьян. Это видно по тому, как слишком аккуратно он переставляет ногу, отлепляясь от стойки и двигаясь в нашу сторону, словно заранее договорился с полом, что тот не качнётся.

— Карделия, — говорит он, и голос у него ровный, почти трезвый, только с лишней мягкостью на моём имени. — Какое совпадение.

— Не особо, — отвечаю я. — Ты же знаешь, куда мы ходим по пятницам.

Прямота его никогда не задевала. Он только усмехается уголком рта, подтягивает свободный стул и садится рядом, не дожидаясь приглашения, достаточно близко, чтобы я почувствовала виски в его дыхании и тот самый гель для волос, запах которого когда-то означал для меня вечер вдвоём.

— Я думал об этом месяце. О нас, — начинает он, и в голосе появляется та самая интонация, с которой он когда-то извинялся за опоздания, забытые дни рождения и мелкие предательства, из которых, как выяснилось потом, и складывалась вся наша история. — То, что было с Кейт, это была минутная слабость. Глупость. Я был пьян, мы оба были…

— Ты всегда был пьян, когда происходило что-то, за что потом приходилось извиняться, — перебиваю я. — Удобная закономерность.

— Дай мне ещё один шанс, — говорит он, подаётся вперёд через угол стола и тянется к моей руке.

Я отдёргиваю её раньше, чем успеваю подумать. Так отдёргивают пальцы от раскалённой конфорки, и лёд в моём бокале испуганно звякает о стенку.

— Прощение не банковский счёт, Тапер, — говорю я, и голос у меня получается ровный, холодный, без крика и надрыва, именно такой, какой нужен, чтобы слова дошли до адресата. — Его нельзя брать в долг каждый раз, когда тебе снова приспичило. Я выдала тебе весь лимит ещё тогда, в своей квартире, когда нашла переписку. Больше там ничего нет. Ни цента.

Он открывает рот, чтобы выдать следующий пункт речи, отрепетированной где-то по дороге сюда, в машине или у зеркала в туалете. Но тут рядом со мной молча, без единого звука отодвигает стул Алекс и поднимается.

Он не делает ничего угрожающего. Просто стоит, почти касаясь плечом моего плеча, скрестив руки на груди, и разглядывает Тапера с тем выражением, с каким смотрят на муху, слишком долго кружащую над столом. Этого хватает. Тапер отступает на полшага назад, будто споткнулся о черту, которую провели по полу без его ведома.

— Ладно, — говорит он, поднимая свободную руку в почти примирительном жесте. — Ладно, я понял.

Он смотрит на меня ещё секунду, и что-то в его взгляде перещёлкивается, застывает, теряет всю жалобную мягкость.

— Я никуда не денусь, — бросает он напоследок, уже отворачиваясь к стойке.

Звучит это не как обещание человека, который готов терпеливо ждать своей очереди. Звучит как предупреждение, кое-как завёрнутое в вежливость.

Он уходит, лавируя между столиками с той же нарочитой точностью, и я смотрю ему в спину, пока она не растворяется в толчее у стойки. Внутри медленно разжимается кулак. Не до конца, но достаточно, чтобы вдохнуть полной грудью и почувствовать, как сквозняк холодит мокрые от танцев ключицы.

— Кретин, — коротко резюмирует Алекс, падая обратно на стул и тут же хватая свой бокал, будто ничего не произошло и мы просто обсуждали погоду.

Под столом Мия находит мою руку и сжимает. Молча, без «ты как?», без сочувственного наклона головы, от которого мне захотелось бы завыть: просто даёт понять, что всё видела, что она рядом и что объяснять ничего не нужно. Я сжимаю в ответ так, что у неё, наверное, белеют костяшки, и благодарна ей за то, что хотя бы здесь, хотя бы с ней не приходится изображать, будто всё в порядке.

— Идиот решил, что год молчания — это пауза, а не конец, — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал легко, но привкус яда остаётся во рту ещё долго после того, как его силуэт исчезает за чужими спинами, и даже коктейль его не смывает.

* * *

Такси высаживает меня у бордюра, и я жду, пока красные огни не растворятся в конце улицы, прежде чем повернуться к дому. Половина второго. Телефон сдох где-то между третьим коктейлем и танцами, так что время я знаю только по часам на панели приборов, мелькнувшим у водителя перед самым выходом.

В окнах гостиной горит свет. Я стою на дорожке в туфлях, разглядываю жёлтый прямоугольник сквозь занавеску и чувствую, как хорошее настроение, с которым я вывалилась из

бара, начинает сдуваться, как шарик с крошечной дыркой от иголки. В такое время Демиан обычно уже наверху, в кабинете, с горящим монитором и недопитым кофе, которого ему хватает до трёх ночи. Внизу он не сидит никогда. Ну, почти никогда.

Открываю дверь как можно тише, придерживая язычок замка пальцем, снимаю туфли прямо у порога и иду через холл на цыпочках, по холодной плитке, лелея слабую надежду, что он заснул перед телевизором и я успею проскользнуть к лестнице.

Не успеваю.

Демиан сидит в кресле у окна, вытянув ноги, с ноутбуком на коленях, но экран давно потух: чёрный безучастный прямоугольник, которого не касались уже бог знает сколько времени. Он не читает и не работает. Он просто сидит и смотрит в темноту за стеклом, а когда я вхожу, медленно поворачивает голову, будто точно знал, что я появлюсь именно в эту секунду, именно из-за этого угла.

— Долго, — говорит он.

Не вопрос. Констатация. Он даже не косится на часы, хотя они у него на запястье, и я могу поклясться, что он знает время с точностью до минуты и держит эту минуту при себе, как козырь.

— Я не отчитываюсь по минутам, — отвечаю резче, чем собиралась, и сама слышу в собственном голосе ту интонацию, которую приберегаю для него одного.

Он молчит. Закрывает ноутбук медленно, аккуратно, двумя руками, будто этот жест способен выторговать ему пару лишних секунд на то, чтобы решить, что говорить дальше. Я стою посреди гостиной, туфли в одной руке, сумочка свисает с плеча, и по коже ползёт то самое ощущение, которое обычно предшествует нотации: про комендантский час, про «ты могла хотя бы предупредить», про город после полуночи.

Нотации не происходит.

Вместо этого он смотрит на меня. Долго, слишком долго для простой тревоги старшего брата, и я почти физически чувствую, как взгляд ползёт по растрёпанным от танцев волосам, по смазанной в уголке губ помаде, задерживается на вырезе платья на секунду дольше, чем позволено. Кажется, он даже принюхивается: ноздри чуть расширяются, подбородок приподнимается на миллиметр. И я вспоминаю про чужой парфюм, въевшийся в кожу на заднем сиденье такси, где Алекс прижимался плечом, пропуская Мию к окну.

— Ты пахнешь чужим одеколоном, — говорит он наконец, и голос у него странно ровный, слишком ровный для того, чтобы сойти за безразличие.

— Это Алекс. В такси было тесно, — отвечаю я и слышу, как оправдываюсь, хотя оправдываться мне, вообще-то, не в чем. — Три человека на заднем сиденье, знаешь ли, не выбирают, чей локоть куда прижмётся.

Он кивает. Медленно, словно принимая логику к сведению и подшивая её в папку, но взгляд не теплеет ни на градус. Я жду продолжения, очередного пункта из его бесконечного свода правил: с кем была, куда ходила, почему не брала трубку. Вместо этого он просто отворачивается обратно к окну, и это молчание бьёт сильнее любого скандала, какой он мог бы мне устроить.

— Спокойной ночи, — говорю я, потому что сказать больше нечего, а стоять посреди комнаты под этим взглядом с каждой секундой всё невыносимее.

Он не отвечает. Не желает спокойной ночи в ответ, не говорит, что рад видеть меня живой и целой, не произносит ни одной из тех дежурных фраз, которые люди выдают вслух, когда беспокоятся по-братски. Просто сидит лицом к тёмному стеклу и позволяет мне уйти в полной тишине, как будто я прохожая.

Я поднимаюсь по лестнице и чувствую спиной этот взгляд, цепкий и тяжёлый, остающийся на коже даже после того, как я сворачиваю за угол. Точь-в-точь как на горной тропе после камнепада, когда он смотрел на меня так, будто пересчитывал кости и проверял, не раз-

билась ли я где-то внутри, где этого не видно снаружи. Тогда я списала всё на обычный страх опекуна за подопечную, на адреналин и жару.

Сейчас, на середине лестницы, в темноте, пропахшей чужим одеколоном и моими собственными духами, списать так же легко почему-то не получается.

* * *

Серьги падают на тумбочку с тихим стуком, один гвоздик, следом второй, и я остаюсь стоять у окна, глядя на улицу, где фонарь высвечивает пустой тротуар и мою собственную тень, расплывшуюся по подоконнику. Внизу всё ещё горит свет. Через пол слышно, как потрескивает старая половица у кресла, когда Демиан переступает с ноги на ногу, будто никак не может встать и никак не может усидеть.

Его лицо стоит перед глазами так отчётливо, что я нарисовала бы его с закрытыми глазами. Не то, каким оно было, пока он сидел у окна и смотрел в темноту, а то, каким стало в секунду, когда он сказал «долго». Губы сжаты в прямую линию, на скуле дёрнулась мышца, будто он проглотил что-то кислое и решил не морщиться. Это не лицо человека, который волнуется, куда подевалась младшая сестра. Это лицо человека, который держит сам себя за шиворот, чтобы не сказать лишнего.

Я расстёгиваю пуговицы на платье, и пальцы замирают на середине движения, потому что мысль, которую я не звала, вылезает сама, без стука, как таракан из щели за плинтусом: это было похоже на ревность.

Серьга, которую я так и не положила на место, жжёт мне ладонь. Металл холодный, а ощущение такое, будто я сжимаю уголёк, и я разжимаю пальцы, роняю её на ковёр. Нагибаюсь, шарю по ворсу в полумраке, и за эти несколько секунд слово «ревность» успевает обрасти всеми возможными опровержениями, которые я торопливо натягиваю на себя, как броню не по размеру.

Это бред. Полный, законченный бред. Демиан мой брат. Опекун. Человек, который семь лет назад взял на себя обязательство следить, чтобы я не вляпалась в неприятности, пока не научусь следить за собой сама, и до сих пор считает это обязательство бессрочным, без права досрочного расторжения. Он посмотрел бы на меня точно так же, вернись я в три ночи от Мии одна, без Алекса и без чужого одеколона. Сложил бы два и два, испугался, что со мной что-то случилось, и теперь крутит в голове сценарии, один страшнее другого. Классика жанра. Я бы и сама перепугалась, явись он когда-нибудь домой в таком виде.

Только он не спрашивал, всё ли со мной в порядке. Он спросил про запах.

Я бросаю платье на спинку стула и стою перед зеркалом в одном белье, разглядывая себя так, будто ответ прячется где-то в отражении: в растрёпанных рыжих волосах, в размазанной помаде, в красных пятнах на скулах, которые я списываю на духоту клуба, хотя духота тут ни при чём, и мы обе это знаем, я и девица в зеркале. Кожа до сих пор помнит, как её стянуло под тем взглядом внизу. Не враждебным, не осуждающим. Голодным, вот что было не так. Голодным и затянутым на все ремни, до скрипа зубов. И во рту у меня тогда пересохло на пару секунд дольше, чем должно пересыхать от разговора с братом о комендантском часе, которого он, к слову, даже не упомянул.

Тело помнит то, что голова категорически отказывается признавать. Это я про себя тоже знаю, достаточно честная, чтобы не врать хотя бы себе и хотя бы в темноте собственной спальни. И от этой честности меня передёргивает сильнее, чем от самой мысли о ревности.

Я натягиваю старую футболку, залезаю под одеяло, хотя в комнате по-прежнему душно и кондиционер еле справляется, и лежу, уставившись в потолок. Щёлкаю выключателем лампы. Комната проваливается в темноту, и в ней делаются слышнее все звуки дома: скрип ступеней, когда Демиан поднимается наверх, тихий стук закрываемого ноутбука в кабинете, щелчок внизу, после которого полоска света под моей дверью гаснет вместе со светом в гостиной.

Дом затихает. Теперь слышно, как гудит холодильник на кухне, как по улице проезжает машина, волоча за собой шлейф басов из открытого окна, и как колотится моё собственное сердце. Слишком быстро для человека, который всего-навсего собирается уснуть.

Я переворачиваюсь на бок, подтягиваю колени к груди и пытаюсь выровнять дыхание, как учат в тех идиотских статьях про бессонницу, которые Мия зачитывала нам с Алексом вслух в баре ради смеха. Не помогает ни на грамм. Голова упрямо возвращается к одному и тому же кадру: Демиан у окна, застывший, слишком застывший взгляд и вопрос не о том, где я была, а о том, кто ко мне прикасался.

Я закрываю глаза и велю себе спать. Телу, кажется, абсолютно наплевать на мои приказы.

Глава 6

Кухня встречает меня запахом кофе, слишком хорошим для моего состояния. Я замираю на последней ступеньке, босиком, в той же футболке, в которой провалялась полночи без сна, пересчитывая трещины на потолке. Плитка под пятками ледяная, и этот холод отрезвляет быстрее любого кофеина. Спина Демиана занимает весь оконный проём. Рубашка выглажена без единой складки, рукава закатаны ровно до локтя, будто по линейке, даже волосы на затылке лежат так, как им велено. Вчера он стоял у этого же окна совсем другим человеком, с лицом, которое я видела всего пару раз в жизни. Сейчас он наливает кофе во вторую чашку, мою, с отколотым краем, и делает это с таким спокойствием, словно вчерашнего вечера просто не было в расписании.

Слово «ревность» всю ночь крутилось у меня в голове, как камешек в ботинке. Я вертела его так и эдак, примеряла к нему другие, безопасные слова, и ни одно не село по размеру. Оно не хочет становиться «заботой». Оно не хочет быть «он просто испугался». Оно упрямо остаётся собой.

— Доброе утро, — говорит он, не оборачиваясь, и подвигает чашку на мою сторону стойки с точностью человека, который делал это тысячу раз и ни разу не промахнулся мимо подставки.

— Утро, — отвечаю я и сажусь на табурет, подтягивая под себя холодную ногу, обхватывая кружку обеими ладонями, как грелку.

Он поворачивается. Голубые глаза смотрят спокойно, слишком спокойно, ни следа вчерашнего. Ни красных прожилок, ни тени под веками, ни одной зацепки, за которую я могла бы ухватиться. Будто кто-то за ночь переставил декорации, а актёра забыли предупредить, что роль сменилась.

— Я поставил приложение тебе на телефон, — говорит он тем же ровным тоном, каким объявляют повестку дня на совещании. — GPS. Чтобы было видно, где ты, когда ведёшь группу. Мало ли что, как в прошлый раз на Систерс-Пик.

Кофе идёт не в то горло. Я кашляю в кулак, и глаза слезятся.

— Ты серьёзно воткнул мне трекер?

— Это не трекер, это функция безопасности. — Он произносит это так уверенно, что мне на секунду хочется ему поверить. — У Дэвида перелом, у страховой будут вопросы, рапорт нужно подать до пятницы. Я хочу, чтобы в следующий раз, если что-то случится, я знал, где искать.

— А если я не хочу, чтобы меня искали?

— Тогда плохо, что тебя нашли вчера рядом с камнепадом, а не сегодня в морге, — говорит он, не поднимая голоса, и от этой ровности у меня по рукам бегут мурашки сильнее, чем если бы он сорвался на крик.

Я молчу, потому что крыть нечем, и ненавижу себя за это молчание. Ковыряю ногтем скол на кружке. Отчёт для страховой, камнепад, перелом ноги: всё разложено по полочкам, всё правильно, всё логично до тошноты. Ни слова про три часа ночи. Ни слова про чужой одеколон, который он тогда учуял в коридоре раньше меня. Будто вчерашнего вечера не существовало вовсе, будто всё мне привиделось в дрёме перед сном.

Он допивает кофе одним глотком, как лекарство, ставит чашку в раковину донышком вниз, точно по центру, и смотрит на часы так, словно опаздывает, хотя машина ещё даже не вызвана.

— Вечером заедешь ко мне в офис, — говорит он вдруг, и в голосе проскальзывает что-то не из утреннего расписания, какая-то заминка, будто фраза далась ему тяжелее, чем нужно для простого приглашения. — Хочу кое-что показать. На крыше.

— На крыше? — Я прищуриваюсь поверх края кружки. — У тебя там что, вертолётная площадка завелась?

— Терраса. Для переговоров с инвесторами. — Он берёт со стула пиджак, одним движением надевает его, поправляет манжету и на секунду застывает у двери, будто у него на языке вертится продолжение фразы, которое он так и не выпускает наружу. — В семь.

— Ладно, — говорю я с деланой скукой, пожимая плечом так, будто речь о чём угодно, только не о приглашении, от которого у меня внутри что-то переворачивается помимо воли. — Если там хотя бы вид приличный, так и быть, прощу тебе трекер.

Он почти улыбается, одним уголком рта, и эта почти-улыбка почему-то бьёт больнее, чем вчерашнее ледяное молчание.

— Договорились, — говорит он и выходит, оставляя за собой запах своего одеколона, кедр и что-то сухое, горьковатое, который я различила бы из тысячи в закрытой комнате с завязанными глазами.

Дверь закрывается мягко, на доводчике, без всякого хлопка, который помог бы мне разозлиться. Я остаюсь за стойкой одна, с остывающим кофе и его недосказанным «ещё что-то», которое так и не вылетело, зависнув где-то между порогом и моей головой. Весь день теперь будет вращаться вокруг двух дурацких слов. В семь. И я ненавижу себя за то, с какой скоростью сердце отзывается на эту мысль, будто мне назначили не деловую встречу, а первое свидание.

* * *

Офис пропах кофе и свежими распечатками, тёплой бумагой из принтера, которая всегда немного пахнет пылью. Стопка документов по Дэвиду лежит у меня под локтем и не становится тоньше. Страховая прислала форму на двенадцати листах, и мне нужно закрыть каждую графу: обстоятельства, время, маршрут, координаты точки камнепада, подпись руководителя группы. Я ставлю последнюю галочку в чек-листе и залипаю взглядом на слове «Систерс-Пик», напечатанном мелким шрифтом в углу страницы, будто оно может рассказать что-то новое о вчерашнем дне, которого там даже не было.

— Тебе принести степлер? — Чарльз возникает рядом так тихо, что я дёргаюсь, хотя узнаю его голос раньше, чем поднимаю голову.

— У меня есть степлер. — Я киваю на угол стола, где он и лежит, прямо у него под носом, рядом с пачкой скрепок.

— А, точно. — Он мнётся, перекладывает какую-то папку из одной руки в другую, хотя она ему явно не нужна. Хвостик у него съехал набок, прядь выбилась и падает на лоб, но он этого не замечает и продолжает стоять в полуметре от меня дольше, чем требует простая вежливость. — Я просто подумал, может, нужна помощь с копиями для страховой. Я уже делал такое, когда Эмма ногу подвернула в прошлом году.

— Справлюсь, — говорю я, и получается резче, чем хочу, поэтому добавляю, сбавив тон: — Но спасибо.

Он не уходит. Переминается с ноги на ногу, половица под ним тихо скрипит, и он разглядывает мой монитор так, будто там написано что-то важное, хотя там просто таблица с номерами полисов.

— Ты подпись руководителя уже поставила?

— Угу. — Я щёлкаю мышкой, листаю вниз, хотя мысленно я уже не здесь, а между гостиной и кухней, где Демиан стоял с чашкой в руке и говорил про трекер голосом, в котором не было ни капли той ночной сцены. Я представляю, как поднимаюсь в его офис вечером, и ловлю себя на том, что прикидываю, что надену, хотя речь о деловой встрече на какой-то дурацкой террасе для инвесторов.

— Карделия?

— А? — Я моргаю и понимаю, что он что-то спросил, а я прослушала целиком, от первого слова до последнего.

— Я говорю, нужно ли отправить копию в офис страховой до обеда или можно завтра утром. — Он смотрит на меня с тем особенным терпением, с каким смотрят люди, привыкшие повторять по два раза и не обижаться.

— До обеда, — говорю я наугад, потому что звучит безопаснее, и, судя по тому, как он кивает и заметно расслабляет плечи, попадаю.

Чарльз присаживается на край соседнего стола, не уходя, хотя повод для разговора вроде бы исчерпан. Складывает руки на коленях, теребит уголок папки, загибая его в трубочку и разглаживая обратно, и по этому движению я заранее вижу, что он собирается с духом.

— У тебя всё нормально? — спрашивает он наконец, тихо, будто боится, что вопрос прозвучит не к месту. — Ты сегодня какая-то… не здесь.

— Я вся здесь, Чарльз, глянь, даже кофе себе налила. — Я киваю на кружку, которая давно остыла и покрылась тонкой плёнкой, но пока служит неплохим реквизитом.

— Я не про это. — Он не отступает, и это на него совсем не похоже: обычно он отваливает при первом же моём колком тоне, как улитка в раковину. — Дома всё в порядке? С Демианом?

Имя брата в его устах звучит не так, слишком осторожно, с паузой перед ним, будто он давно заметил то, что я сама только вчера начала подозревать, и теперь аккуратно щупает почву, готова ли я это обсуждать. У меня сводит живот, и это точно не от кофе.

— С Демианом всё прекрасно, — говорю я и слышу сама, что произношу это слишком быстро, слишком гладко, как заученный ответ на экзамене. — Он установил мне GPS-трекер после вчерашнего, если тебе интересно. Теперь я официально отслеживаемый объект, как посылка с «Амазона».

Чарльз моргает, явно не ожидал такого поворота, и на секунду в его лице проступает что-то вроде облегчения, будто я дала ему законный повод не копать глубже.

— Жёстко, — говорит он с неловким смешком и наконец убирает прядь со лба. — Хотя в целом логично, после камнепада.

— Логично, ага. — Я закрываю папку резче, чем нужно, и хлопок картона по столу ставит в разговоре точку, которую я не собираюсь обсуждать. — Если я вдруг пропаду без вести, он теперь сможет найти меня по спутнику с точностью до метра. Романтика.

Он смеётся, уже свободнее, и отходит наконец к своему столу, бросив через плечо что-то про лишнюю копию, которую он всё равно распечатает, на всякий случай. Я смотрю ему вслед, на съехавший хвостик и сутулые плечи, и чувствую укол вины за то, с какой лёгкостью свела всё к шутке, спрятав за иронией то, чего сама ещё не умею назвать словами даже наедине с собой.

Когда я собираю сумку в конце дня и тянусь выключить монитор, рука на секунду замирает над клавиатурой. В голове снова всплывает его голос из-за двери. «В семь». Я проверяю телефон, хотя точно знаю, что там ничего нового, просто чтобы увидеть цифры времени на экране, будто от этого вечер наступит быстрее. И ловлю себя на том, что внутри что-то неприлично звенит от предвкушения, как перед первым свиданием, а не перед дурацкой деловой встречей на крыше с человеком, который меня вырастил.

— Твою мать, — говорю я вслух, ни к кому не обращаясь, и захлопываю ноутбук так, будто это поможет захлопнуть заодно и собственную голову.

* * *

Вестибюль «Аванпоста» в семь вечера похож на музей после закрытия: мрамор блестит, кадки с фикусами стоят навытяжку вдоль стены, а звук моих шагов разлетается по пустоте и возвращается откуда-то сверху с опозданием, так что я чувствую себя незваной гостьей в собственной жизни. Охранник за стойкой, тот самый, с проседью на висках, что каждое Рождество получает от Демиана бутылку виски, поднимает голову от журнала и кивает мне, как своей, будто я прихожу сюда каждый вечер.

— Мисс Делломар, — говорит он, и в этом «мисс» звучит нечто среднее между уважением и многолетней привычкой. — мистер Делломар предупредил о вашем визите.

Я киваю в ответ и иду к лифтам, а внутри всё сжимается от одного того, что меня здесь знают, ждут, встречают по фамилии, которую я ношу как чужое пальто с его плеча, слишком длинное в рукавах.

Лифт заглатывает меня бесшумно, цифры этажей вспыхивают одна за другой, и я остаюсь одна в зеркальной коробке, где тёмное стекло двери превращает меня в размытый силуэт с рыжим пятном вместо волос. Я ловлю себя на том, что заправляю прядь за ухо, хотя минуту назад мне было плевать, как я выгляжу, и от этого простого жеста меня накрывает злостью на саму себя. Можно подумать, иду на свидание, а не к брату, который хочет показать мне какой-то чертёж.

— Идиотка, — говорю я своему отражению, и оно не спорит, только моргает в ответ.

Двери расходятся на нужном этаже, и первым я вижу самого Демиана: он стоит у стойки ресепшен с видом человека, который пытался казаться занятым, но бросил это занятие минуту назад. Рубашка расстёгнута на две пуговицы больше обычного, рукава закатаны до локтей, усталость лежит под глазами серой тенью, которой не было утром. Но дело не в этом. В его лице есть что-то незнакомое, будто с него сняли вежливую броню, в которой он проходил весь день, и теперь он стоит тут немного голый, без привычной уверенности.

— Ты как раз вовремя, — говорит он, и голос у него мягче, чем я готовилась услышать после вчерашнего льда.

— Я вообще-то патологически пунктуальна, в отличие от некоторых, кто назначает встречи загадочными смс без подробностей.

Уголок его рта дёргается, почти улыбка, и внутри меня что-то отпускает на один оборот. Я ведь полдня боялась, что он снова будет холодным, застёгнутым на все пуговицы, а он вот такой, почти нормальный, почти мой.

— Хотел закончить с проектом «Хиллкрест» до твоего прихода, — говорит он, кивая в сторону кабинета, где на столе разложены чертежи, подсвеченные настольной лампой до белизны. — Клиент требует переделать фасад третий раз за месяц.

— Дай угадаю: он хочет, чтобы здание выглядело одновременно скромно и так, чтобы все соседи сдохли от зависти.

— В точку. — Он качает головой, и в этом жесте впервые за день проскальзывает усталая ирония, которую я помню с детства, когда он ещё не был взрослым и серьёзным, а просто старшим братом, замученным чужими курсовыми. — Ты бы с ним поговорила, может, тебя послушает.

— Чтобы я сказала клиенту, что он придурок? Я не настолько дипломатична, в отличие от тебя.

Он не отвечает. Просто смотрит на меня чуть дольше, чем нужно для разговора о фасадах, и от этого взгляда у меня по позвоночнику проходит что-то, чему я отказываюсь давать имя. Потом он разворачивается и идёт к неприметной двери в конце коридора, той самой, что ведёт на служебную лестницу, и я иду следом, глядя ему в спину, на напряжённые плечи под тонкой тканью рубашки.

Лестница узкая, пахнет бетоном, пылью и чем-то техническим, вроде машинного масла. Шаги гулко отдаются между этажами, лампы над площадками гудят, и я чувствую, что он молчит не просто так. В этом молчании есть вес, он тащит его на себе пролёт за пролётом, собираясь с духом сказать то, что давно вертится у него внутри. Я хочу спросить, в чём дело, но вместо этого иду следом и считаю ступеньки, как делала в детстве, когда боялась чего-то неизвестного и нужно было чем-то занять голову.

На последнем пролёте он толкает тяжёлую металлическую дверь плечом, и она поддаётся со скрипом, впуская нас в пространство, которое обрушивается сразу всем: ветром, запахом раскалённого за день асфальта, гулом города где-то внизу, растянутым закатным светом, который красит кромку неба в цвет ржавчины. Волосы тут же залепляют мне лицо. Весь бытовой

разговор про фасады и клиентов проваливается вниз вместе с лестничным пролётом, и остаёмся только мы двое на краю крыши, где воздух другой и где слова, кажется, весят больше, чем должны.

* * *

Демиан подходит к мини-бару у выхода на крышу, достаёт бутылку и два бокала, будто приготовил всё заранее и только ждал подходящей минуты. Жест странный для него, он не из тех, кто разливает вино под открытым небом, обычно ему хватает стакана воды и графика на экране. Сейчас он наливает молча, протягивает бокал мне, и наши пальцы соприкасаются на долю секунды дольше, чем требуется для простой передачи стекла.

— За закрытое дело Систерс-Пик, — говорит он, и в этом тосте слышится что-то вымученное, будто ему нужен был повод, а вовсе не выпивка.

— За то, что Дэвид не подал в суд на мою компанию, — поправляю я, и мы чокаемся, глядя не друг на друга, а на город внизу, где огни уже зажигаются гирляндами вдоль бульваров.

Он рассказывает о «Хиллкресте», о расширении компании на север, о новом офисе, который планирует открыть в Сан-Франциско через год, и голос у него спокойный, деловой, как на совещании, только иногда спотыкается, сворачивая на что-то личное, будто мысли обгоняют заготовленные слова. Я слушаю вполуха. Смотрю на его профиль на фоне гаснущего неба, на то, как ветер треплет прядь у виска, и думаю, что никогда не видела его таким: без галстука, без кабинета, без вечной стеклянной стены между ним и остальным миром.

— А потом, наверное, женюсь, — говорит он вдруг, без перехода, словно эта мысль всё время лежала рядом с чертежами фасадов и теперь выскользнула сама. — Заведу детей. Дом где-нибудь в Пасифик Палисейдс, может быть, с видом на океан.

Я киваю, будто речь о чужой биографии, о коллеге, о герое вечерних новостей. Внутри что-то натягивается, как трос на последнем метре подъёма, когда уже слышно, как скрипят волокна.

— Звучит как реклама недвижимости твоей же компании.

Он не смеётся. Смотрит на бокал в своей руке, крутит его за ножку, и вино качается у самого края, поблёскивая в закатном свете.

— Знаешь, что бы ни случилось, — говорит он тихо, поворачиваясь теперь прямо ко мне, — какая бы у меня ни была жена, сколько бы ни было детей — ты всегда останешься для меня самым родным человеком. Понимаешь? Это не изменится.

Я улыбаюсь. Губы растягиваются сами собой, привычно, механически, будто у меня внутри давно установлен переключатель для таких моментов, и он срабатывает без всякого моего участия.

— Конечно, — говорю я, и голос звучит ровно, может, даже чуть теплее обычного. — Куда я денусь.

Он кивает, довольный, будто сказал что-то утешительное, будто вручил мне подарок, а не зачитал приговор, и снова возвращается взглядом к городу, спокойный, застёгнутый изнутри на все пуговицы, хотя рубашка у ворота так и осталась расстёгнутой.

А внутри меня в это время что-то рушится, медленно, с тем особым грохотом, с каким складываются высотки под управляемым взрывом в документальных фильмах: сначала трещина, потом ещё одна, потом всё здание оседает внутрь себя, поднимая облако серой пыли. Самый родной человек. Место рядом, но не внутри. Он только что аккуратно, вежливо, с нежностью в голосе сообщил мне, что в его будущем есть жена, есть дети, есть дом с видом на океан. И есть отдельная полка, подписанная «сестра», куда он поставит меня, как ставят фотографию в рамке: на видное место, чтобы не мешала и не потерялась.

Боль накрывает так резко, что я пугаюсь самой силы удара, того, как она входит под рёбра и выбивает воздух, будто я сорвалась со страховкой и повисла на ней всем весом. Потому что сёстры такого не чувствуют. Сёстры должны млеть от нежности, растекаться благодарностью,

лезть обниматься, а не стоять с бокалом и ощущать, будто их вычеркнули заживо, зачитав приговор мягким голосом и добавив вина для мягкости.

— Красиво тут, — говорю я неожиданно резко для самой себя, отворачиваясь к парапету, чтобы он не видел моего лица хотя бы три секунды. — Я бы здесь жила, честно.

Облокачиваюсь на холодный металл ограждения, вцепляюсь в него пальцами и вглядываюсь в переплетение улиц внизу, в фары машин, ползущих друг за другом, как цепочка муравьёв. Заставляю себя дышать ровно, на четыре счёта, считать огни светофоров, думать о чём угодно, кроме того, как теперь жжёт под рёбрами, кроме того, что я только что поняла о себе то, чего совсем не хотела понимать.

Ветер бросает мне в лицо прядь волос. Я убираю её резким движением, будто можно так же легко вычесать из головы всё остальное, и чувствую за спиной его взгляд, тяжёлый, изучающий, будто он уловил в моём голосе фальшивую ноту, но никак не разберёт, откуда она взялась.

* * *

Такси пахнет вишнёвым освежителем и чьими-то старыми сигаретами, въевшимися в обивку. Я сижу на заднем сиденье, подтянув колени к животу, и смотрю, как огни бульвара размазываются по стеклу дождевыми полосами, хотя дождя сегодня нет. Просто город так дрожит, когда глядишь на него сквозь слёзы, которые я себе категорически запрещаю ронять.

«Какая бы у меня ни была жена, сколько бы ни было детей — ты всегда останешься для меня самым родным человеком».

Я прокручиваю фразу снова, как старую плёнку, которую заело на одном кадре. Ищу в ней трещину, лазейку, хоть один шов, который можно распороть и вывернуть наизнанку. Может, он имел в виду совсем не то, что я услышала. Может, «самым родным» — это высшая похвала, а не вежливое увольнение с должности, которую я сама себе придумала и сама себе утвердила.

Навсегда. Он сказал это слово дважды. Я считаю на пальцах, прижатых к колену, будто от количества повторений может поменяться смысл: один раз «ты навсегда останешься», второй «это не изменится». Два «навсегда», и ни в одном нет ни сантиметра места для меня живой, настоящей, той, что сидит сейчас в такси с передавленным горлом. Только фотография в рамке. Сестра на видном месте, протёртая от пыли.

Смешно, если подумать. По-настоящему смешно, я чуть не фыркаю вслух, и водитель всё равно косится в зеркало заднего вида. Человек сказал мне, по сути, комплимент. Признался, что я для него важнее всего на свете, важнее будущей жены, будущих детей, важнее дома с видом на океан. А я сижу тут и разваливаюсь на запчасти, будто мне зачитали диагноз. Нормальная сестра обняла бы его прямо там, на крыше. Растрогалась бы. А я чувствую себя так, словно меня вежливо попросили выйти из комнаты и прикрыть за собой дверь.

«Да что с тобой не так, Делломар», — думаю я, и мысль звучит собственным голосом настолько едко, что мне почти становится легче.

Телефон вибрирует в кармане куртки, и я хватаюсь за него, как за соломинку, как за законный повод не думать ещё хотя бы полминуты.

Кейт.

Смотрю на экран дольше, чем нужно, пока имя не начинает расплываться. Мы не разговаривали нормально с тех пор, как я удалила все её сообщения с мстительным остервенением, стирая по одному и чувствуя себя при этом отвратительно. Но голос в трубке звучит так тихо и осторожно, что вся заготовленная злость куда-то проваливается.

— Карделия. — Пауза, в которой слышно её дыхание, будто она боится, что я брошу трубку на первом же слове. — Я знаю, что не должна звонить. Но я хочу поговорить. Нормально. Лицом к лицу. Не по телефону.

— О чём? — спрашиваю я, хотя прекрасно знаю ответ и уже чувствую, как он горчит во рту.

— О Тапере. О том, что я сделала. — Голос дрожит едва заметно, на самом краю. — Я не прошу прощения по телефону, это было бы дёшево. Просто… давай встретимся. Сегодня. Клуб на Хиллкрест, тот же, где мы были в субботу. Я не задержу тебя надолго.

Я смотрю в окно, на город, который всё ещё расплывается, хотя слёз нет, просто глаза щиплет от того, что я слишком долго забывала моргать.

Если я скажу «нет», я поеду домой. А дома Демиан, его расстёгнутый воротник, его взгляд, умеющий быть тяжёлым даже в молчании, и его спокойствие человека, только что подарившего мне вежливый отказ, завёрнутый в нежность, как подарок в шуршащую бумагу. Я не выдержу сидеть с ним сегодня за одним столом. Не выдержу смотреть, как он заваривает себе чай с таким видом, будто ничего не случилось, будто не он десять минут назад одним предложением разобрал меня на кирпичи.

— Хорошо, — говорю я быстрее, чем успеваю взвесить. — Буду через час.

Кейт выдыхает в трубку что-то похожее на облегчение, мы коротко прощаемся, и я убираю телефон от уха, уже наклоняясь вперёд, чтобы назвать водителю новый адрес.

Решение сбежать оформилось раньше, чем я успела его обдумать, будто тело приняло его само, без моего разрешения, ровно так же, как мои губы растянулись в улыбке там, на крыше. Сегодня я не ночую дома. Сегодня я не смотрю Демиану в глаза, не слушаю его ровный голос, не даю ему ни единого шанса разглядеть то, что сама в себе только что откопала.

Пишу ему короткое сообщение: «Еду с Кейт, буду поздно, не жди». Пальцы зависают над экраном на секунду дольше, чем нужно. Хочется добавить что-нибудь колкое, что-нибудь, что заденет его так же, как его слова задели меня, но я сдерживаюсь. Пусть лучше выглядит легко, безразлично, будто там, на крыше, меня вообще ничто не тронуло.

Экран гаснет, и в чёрном стекле я вижу собственное лицо, чужое и слишком бледное. Такси сворачивает в сторону Хиллкреста, я откидываюсь на спинку сиденья и повторяю себе, что сегодня вечером я докажу, прежде всего себе, а если повезёт, то и ему, что мне совершенно, абсолютно, до зевоты всё равно.